

ВИКТОРИЯ
ПЛАТОВА

Анук,
mon amour



Виктория Евгеньевна Платова
Анук, mon amour...
Серия «Завораживающие
детективы Виктории Платовой»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=154301

В. Е. Платова. Анук, mon amour: АСТ, Астрль; Москва; 2019

ISBN 978-5-04-101387-5

Аннотация

Роскошная форма и изумительное содержание...

Обилие эмоций и чувств...

Необыкновенно красивый, метафоричный роман...

Разделенные в младенчестве сиамские близнецы Анук и Ги Кутарба жили вместе до тех пор, пока Анук, ставшая красивой девушкой, не ушла из дома. Ги тоже покинул отчий дом и уехал в Париж с Мари-Кристин, совладелицей модного дома. Но Ги продолжает любить только Анук, и это больше, чем обычное братское чувство.

Он встречает сестру в Париже, и их отношения выходят за пределы допустимого... Мир превращается в искусно изложенные мысли, рассуждения и переживания героев. Их чувства воплощены в великолепном слоге, основной движущей силе книги.

Содержание

Книга первая. Разлученные	5
Пролог	5
Гибискус	91
Конец ознакомительного фрагмента.	143

Виктория Платова

Анук, mon amour

© Платова В., 2019

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

* * *

*Все события, происходящие в романе,
вымышлены, любое сходство с реально
существующими людьми – случайно.*

Автор

Книга первая. Разлученные

*Птица поет в моей голове
И мне повторяет, что я люблю,
И мне повторяет, что я любим,
Птица с мотивом нудным.
Я убью ее завтра утром.*

Жак Превер

Пролог

...Диллинджер мертв.

Ничего особенного в этом нет, мертв и мертв, голубоглазый.

Замызганная кровью мостовая у кинотеатра «Байограф» – прямо под афишей «Манхэттенской трагедии» – романтичнее финала для гангстера и придумать невозможно. С таким финалом, того и гляди, сам попадешь на афишу: редко кому удастся вытянуть джокер напоследок – целую лужу крови, сходную очертаниями со штатом Айдахо. Айдахо, да... Потом на смену Айдахо пришел Вайоминг – и все из-за желающих смочить носовые платки в сувенирной крови Диллинджера. Желающих было – не пропихнуться, целый вагон чикагских дурачков с заусенцами на нетерпели-

вых пальцах: еще бы, знаменитый грабитель банков, враг общества number one. Последние пятеро, едва поспевшие к луже, – последние пятеро общими усилиями трансформировали Айдахо-Вайоминг в Индиану. Индиана, да... Индиана, родной Диллинджеров штатец, привет тебе!.. Привет тебе от жен и подружек чикагских дурачков – кровь Диллинджера оказалась такой же густой, как кровь Христа, – разве они могли отказать себе в причащении?.. Конечно, это была далеко не единственная лужа крови в истории человечества, и гангстер был не единственным, но до чего же лихо он заламывал шляпу!

Голубоглазый...

Именно такие – голубоглазые, с рассыпающимися, как песочное тесто, мягкими волосами и целеустремленными подбородками, которыми только сваи заколачивать, – именно такие всегда нравились Анук. Им она тоже нравилась. Да что там нравилась – они с ума по ней сходили, по моей Анук. По девочке, от которой можно было ожидать чего угодно. Чего угодно – за исключением нижнего белья. Ну не носила она нижнее белье, что уж тут поделаешь... И кольца были ей противопоказаны, за исключением одного; и книги были ей противопоказаны, за исключением одной. И духи ей были противопоказаны, за исключением одних. Которые я так и не придумал...

Жизнь ей тоже была противопоказана, что уж тут поделаешь... Не «вообще жизнь», разумеется, а та, которой живет

большинство. Я тоже живу жизнью большинства – Анук так и не смогла изменить меня. Я – единственный, кого она не смогла изменить.

Я, да еще – Диллинджер.

Джон Герберт Диллинджер, пристреленный как собака у кинотеатра «Байограф» за несколько десятилетий до рождения Анук. Если бы звезды встали иначе и Диллинджер и Анук встретились бы...

Если бы они встретились, о Бонни и Клайде никто бы и не вспомнил.

Не то чтобы Анук знала толк в банковской системе безопасности и могла без всяких рефлексий выпустить пулю в лоб зазевавшемуся стражу закона – нет. Вряд ли она вообще когда-нибудь держала в руках пистолет, а если и держала – то ей и в голову бы не пришло снять его с предохранителя. Просто Анук всегда была Анук – рассеянной девочкой, под ноги которой хотелось бросить весь мир. Не факт, что она заметила бы это. Скорее всего – не заметила бы. Но отдать ей лучшее, на что ты способен, даже если это «лучшее» – преступление... У Диллинджера получилось бы наверняка. У него получилось бы – посвятить Анук какое-нибудь хорошо обставленное, увешанное гирляндами и пахнущее рождественской елкой убийство. Не факт, что она заметила бы это. Скорее всего – не заметила бы. Но разве в этом суть, если дело касается Анук? Суть состоит совсем в другом, и она так и норовит крючьями вцепиться тебе в горло:

либо ты выбираешь Анук, либо ты выбираешь все остальное. Все остальное – это пробежки по утрам, пиво к вечеру, бильярд, боулинг, биатлон, Бали и Биарриц в качестве презента от фирмы за выслугу лет; светские вечеринки, на которых тебя по давно заведенной традиции непременно обольют соусом карри. И с которых ты – по давно заведенной традиции – непременно уползешь с силиконовым бабцом под мышкой. Весь остаток ночи бабец будет преувеличенно громко стонать под тобой, стараясь попасть в рваный ритм «Розовой пантеры» Манчини и в твой собственный рваный ритм. Как правило, это получается: прагматичный северный бабец (по давно заведенной традиции он по-настоящему заинтересован в твоей скромной персоне) может симитировать все, что угодно, – от темперамента *chica latina*¹ до множественного оргазма. Но лучше всего у бабца получается утренний кофе в постель и невинный вопрос, заданный еще более невинным голосом: «Что тебе приготовить на ужин, сла-адик?» На то, чтобы выкурить бабца из квартиры, уходит такая туча времени, что побриться ты уже не успеваешь.

Но успеваешь подумать об Анук.

Я всегда думаю об Анук, даже когда не думаю о ней.

Что было бы, если бы мы не встретились? И на моем месте оказался бы Диллинджер, завсегдатай банков, тюрем и первых рядов в кинотеатрах. Наверняка они бы там и познакомились – в киношке, – наверняка. Под сенью ассирийских

¹ Латинской девушки (*исп.*).

глаз Рудольфо Валентино, под сенью египетских бровей Авы Гарднер, под сенью тexasского рта Кларка Гейбла. И Диллинджер сразу бы втрескался в Анук, в ее прерывистое дыхание. И преподнес бы ей на блюдечке лучшее из своих сорока пяти вооруженных ограблений.

Она того стоит, Анук, моя девочка.

Что было бы, если бы мы не встретились?

Наверняка вся моя жизнь сложилась бы по-другому – наверняка. И я не стал бы участником странных и загадочных событий, – без Анук они просто не могли бы произойти; так же, как весна никогда не сменила бы зиму, так же, как день никогда не сменил бы ночь, – в отсутствие Анук.

Что было бы, если бы мы не встретились?..

Но мы встретились. В животе нашей с ней матери, которая и матерью-то побыть не успела: так, шестнадцатилетняя девчонка, умершая при родах. Теперь-то я думаю, что именно Анук сожрала ее изнутри: Анук всегда была невыносима мысль, что она кому-то обязана. Даже своим появлением на свет.

Вряд ли хоть кто-то знал о нашем отце; вряд ли хоть кто-то вообще был заинтересован в нашем рождении. Поначалу мы с Анук были постыдной тайной, потом – постыдной правдой, а потом нас все-таки выудили из материнского чрева: для этого пришлось делать кесарево. Так мы и появились – за широко распахнутыми, взломанными нехитрым медицинским инструментом воротами из плоти. Теперь-то я думаю,

что именно Анук мы обязаны тем, что нас не утопили, как щенков в ведерке, – ведь затылки наши оказались сросшимися. Анук увидели первой – младенца с фиалковыми глазами. «Фиалковыми» – не самое точное определение. Такой цвет почти не встречается в природе, разве что – в самом сердце грозового неба, в самом сердце беспокойного моря, в самом сердце старинных фресок. Анук и сама была похожа на фреску, и так же, как от фрески, от нее веяло вечностью и тайной. А в местности, где мы родились, не очень-то любят связываться с тайнами и уж тем более – с вечностью. Себе дороже.

Теперь-то я думаю, что, если бы не Анук, не ее фиалковые глаза, мы никогда бы не узнали, что такое Дом. Но отказаться от ее глаз было невозможно, ради них пришлось терпеть и меня, ничем не примечательного сиамского братца с вытянутым мягким черепом и пегим подшерстком.

Довесок к тайне и вечности.

Наши затылки разъединили на пятый день пребывания в Доме. Самым обыкновенным ножом – так гласит семейное предание. Впрочем, нож был не совсем обыкновенным. Он принадлежал деду, а до этого – деду деда, а до этого... До этого он всплывал в Дамаске и Константинополе, им потрошили неверных, чистили рыбу и резали хлеб, – и сталь его никогда не тупилась, и рисунок на рукояти не тускнел от времени: сверчки и раковины, сверчки и раковины. Им ничего не стоило освободить глаза Анук от моего подшерстка.

Кровь не могли остановить в течение полчаса – так гласит семейное предание. После того как сверчки и раковины прошли по нашим затылкам, я заплакал. А Анук улыбнулась сморщенным младенческим ртом. Впервые.

В память о первой улыбке Анук у меня остался небольшой шрам. Точно такой же шрам пригнулся змеей под волосами Анука. Эти шрамы, зеркально повторяющие друг друга, связывают нас до сих пор. Они – единственное, что нас связывает. Анук никогда не любила обременять себя связями, почему я, сиамский братец, должен быть исключением? Она так и сказала мне однажды, моя Анук: «То, что мы перекантовались девять месяцев в чьем-то животе, еще не повод для близких отношений, Гай». Так и сказала. И сунула в рот большой палец. По детской привычке, которой столько же лет, сколько нашим именам.

Гай и Анук.

Анук и Гай.

Мы получили их от деда, в тот самый день, когда сверчки и раковины отделили нас друг от друга. Навсегда. Теперь-то я думаю, что он не особенно ломал голову над тем, как нас назвать, хотя... Анук – единственное сочетание букв, которое идет фиалковым глазам. От деда же мы унаследовали фамилию – Кутáрба. Анук – для того, чтобы сразу же забыть о ней, а я – для того, чтобы постоянно о ней помнить. Гай Кутарба или Ги Кутарба́, как называла меня моя первая женщина, которой я обязан карьерой и раскрученным

до тошноты брендом. Парфюмерная линия «Guy Cutarba», Анук умерла бы со смеху. Моя первая женщина тоже вызывала у нее ироническую улыбку, и уже одно это можно было считать достижением: обычно Анук никак не реагировала на женщин. Она отказывала им в праве на существование. Тем более – сорокалетним, тем более – преуспевающим, а Мари-Кристин была именно такой: сорокалетней и преуспевающей, ни единого кольца на пальцах и девственные мочки ушей, не замутненные жемчугом. Модный дом «Sauvat & Moustaki», где Мари-Кристин принадлежала первая из двух фамилий. «Шлюха & Педик», именно так звучал вольный перевод с французского в исполнении Анук. Впрочем, переводов было несколько, они постоянно варьировались и пребывали в рабской зависимости от ее настроения: «Грымза & Араб», «Надеть & Умереть», «Лучше голой», «Радость бедуина» и даже «Я охреневаю, сэконд-хэнд».

«Сэконд-хэнд» относилось к Мари-Кристин.

Она никогда не выбирала выражений, моя девочка, что уж тут поделаешь. Но это было единственным, чего она не выбирала. В остальном выбор был за ней. Она могла получить что угодно, стоило ей только ткнуть фиалковым взглядом в это самое «что угодно»: вид на жительство в Северной Корее, гравюры Дюрера, лунный грунт, визитку святого Петра, идущую в комплекте с ключами от царствия небесного. И говорящего скворца. И ручную игуану. А о такой мелочи, как мужчины, и говорить не приходится. Но фишка состояла

в том, что и получать Анук не любила, – она предпочитала красть. Просто так, из любви к чистому искусству. И было совсем неважно, что перед ней – вещь или человек, – Анук возбуждал сам факт кражи. И чем бессмысленней была кража, тем упоительнее она казалась.

Я хорошо помню ее первый, по-настоящему удачный опыт: нам по шесть лет и мы только что похоронили стрекозу; дед спит в дальней комнате Дома, по виноградным листьям ползет солнечный луч, и бороться с искушением накрыть его ладонью – невозможно.

– Не трогай. – Глаза Анук зажмурены (в память о стрекозе), но я точно знаю, что она наблюдает за мной.

– Это почему? – Мне нравится дразнить Анук, от этого по спине пробегает холодок.

– Потому. – Анук наконец-то открывает глаза и выплевывает монету, которую до сих пор держала за щекой. – Он мой.

– Еще чего, – холодок натывается на шрам на затылке и останавливается: похоже, он решил здесь заночевать.

– Солнце тоже мое, – она по-прежнему не смотрит на меня, сосредоточившись на монете.

Монета и вправду замечательная: ослепительно-желтая, с дыркой посередине и корабликом сбоку, Анук стянула ее у деда. Я смертельно завидую Анук, я бы тоже засунул за щеку чудный отчеканенный кораблик, но кораблики всегда бросают якорь в гавани по имени Анук.

– Солнце тоже мое, – упрямо повторяет Анук.

– Дура, солнце – для всех. Дура.

– А вот и нет, – теперь Анук пытается разглядеть меня сквозь дырку в монете. – Вот и нет. Я забираю его себе. И завтра ты его не увидишь.

– Ха-ха. Дура дурацкая.

В следующую секунду я вцепляюсь Анук в волосы, и мы начинаем кататься по земле, давя недозревшие ягоды винограда и невыспавшихся сверчков (точь-в-точь таких же, какие сидят на рукояти дедова ножа).

Монета безнадежно утеряна.

Так ей и надо, – Анук, моей девочке.

Побороть Анук ничего не стоит, тем более что она больше не сопротивляется. На правах победителя я прижимаю ее к земле, устраиваюсь на ее легких костях и... Упираюсь подбородком ей в губы. От губ Анук кисловато тянет железом, мертвой стрекозой и днем, который мы провели на винограднике. А прямо надо мной качаются глаза Анук. И только теперь становится ясно, почему Анук не сопротивлялась. Только теперь становится ясно, что ее глаза – повсюду, что ее глаза – ловушка, самый настоящий капкан, и я попался, попался. Помощи ждать неоткуда, остается лишь тихонько подвывать, баюкая ушибленную Анук душу.

– Ха-ха, – победно произносит Анук, высвобождая перепачканные землей губы из-под моего перепачканного землей подбородка. – Завтра ты его не увидишь, солнце. Спорим на мою монету, что не увидишь?

Я молчу, тем более что монета безнадежно утеряна.

Судя по всему, Анук не очень-то грустит по ней, остаток вечера она проводит с жестяной коробкой из-под чая, которую совсем недавно нашла на чердаке; у Анука удивительная способность доставать из ниоткуда самые удивительные вещи на свете. По бокам коробки порхают не виданные нами птицы (Анук утверждает, что это – лирохвосты, но разве можно верить Ануку?); а облупленную крышку украшает самая настоящая карта с розой ветров в левом верхнем углу. На карте есть все, что нравится Ануку: горы, пустыня и тонкие нити рек. Для океана места уже не хватило, и это по-настоящему огорчает Анука. Но не настолько, чтобы забыть о споре на винограднике.

– Помни, что я тебе сказала, – перед сном шепчет мне она. И сует в рот большой палец.

Мы засыпаем одновременно (мы всегда засыпаем одновременно, соединив шрамы на затылках) – и просыпаемся в завтра. В котором действительно нет солнца.

Только дождь.

Дождь не прекращается весь остаток лета. Из-за него не вызревают виноград и персики, гниют табачные листья и морщится кожа на руках. Из-за него Дом наполнен отяжелевшими насекомыми, а в саду плодятся змеи. Мы ходим в вечно влажных свитерах, но мне и в голову не приходит возненавидеть Анука: она наконец-то открыла мне тайну коробки с лирохвостами. Там, на самом дне, перекатываются

чаинки, их совсем немного, но для тайны и нужно немного, так говорит Анук. Она ставит передо мной миску с горячей водой, жестом фокусника вынимает из жестянки небольшой обломок чайного листа и, что-то шепнув ему, бросает в воду.

– Смотри, что будет, – торжественно объявляет Анук.

Все последующее заставляет мое шестилетнее сердце биться быстрее: чайный лист разбухает в воде и превращается в... старика на лошади. Я явственно вижу узкую бороду старика и такие же узкие глаза, и полы халата, которые скрывают поводья; в лошадиный хвост вплетены ленты и колокольчики, я готов поклясться, что слышу, как они позвякивают. Тихо и нежно.

Весь остаток лета посвящен чудесным картинкам из чая. Звери, названий которых мы не знаем; цветы, которые можно увидеть только во сне; фигурки людей, которых даже во сне не увидишь. В особо удачные дни, когда дождь льет сильнее, а затянутое тучами небо почти касается верхушки старой айвы, в нашей с Ануком миске возникают целые сюжеты. Смысл их неясен, и иногда просто пугающ. Настолько пугающ, что мне хочется самым предательским образом бежать от них подальше, бежать что есть сил, уткнуться в колени деда и затихнуть, замереть, заснуть. Но такие сюжеты особенно нравятся Ануку. Она может сидеть над ними часами. Губы ее при этом шевелятся, а глаза всегда полуприкрыты, Анук как будто пытается что-то запомнить. Что-то такое, что недоступно ее пониманию сейчас, но обязательно станет по-

нятным потом.

Потом, когда кончится дождь.

Но дождь все идет; он идет так долго, что я начинаю распознавать страшные чайные откровения за несколько секунд до того, как они всплывают в толще воды.

Запах. Все дело в запахе.

Безобидные диковинные звери, роскошные цветы, пагоды и многомачтовые галеоны не пахнут ничем. Другое дело – связанные бечевой и залитые воском запястья рук, обломок стрелы в горле или груды вспоротых животов – то ли рыбьих, то ли человеческих. Вот они-то и шибают в нос. Запахи всегда разные, и некоторые из них я даже могу определить: ваниль, мускат, акация, смородина, перебродившее вино, цветки граната... Эти запахи я знал всегда, этими запахами пронизан Дом, сад и виноградник, но в сочетании с чайными картинками они приобретают совершенно новый смысл. Я делюсь своим открытием с Анук, но в ответ получаю лишь снисходительную улыбку.

Анук догадалась обо всем с самого начала.

Но о том, что заключено в самом последнем чайном листе, еще не догадываемся ни я, ни она. Анук вытягивает его из жестянки в самый последний день августа, и именно теперь, по прошествии стольких лет, именно теперь, когда я оказался втянут в эту странную, леденящую душу историю, – именно теперь я осознаю, что выбор Анук был не случайным. Что рукой ее водило Провидение, а прошлое и будущее

свиты в кольцо, которое покоится на безымянном пальце настоящего. И что все было predetermined уже тогда, когда Анук возвратила из чердачного небытия жестянку с чаем. А может, и раньше, когда появилась на свет наша мать... или отец, мы так ничего и не узнали о нем. А может, и раньше, когда у ванили, акации и цветков граната еще не было имен...

Имя же, которое прорастает из последнего чайного листа, тоже ничего не говорит нам: мы и читать-то толком не умеем, а буквы, покачивающиеся в воде, и вовсе нам не знакомы. Впрочем, ни в одном имени не бывает такого количества букв, даже «Анук и Гай», сложенные вместе, выглядят куцевато.

«ARSMORIENDI»

Они и сейчас стоят передо мной, эти буквы, так похожие цветом на глаза Анук. Я не запоминал их специально, нет; я не смог бы их запомнить, если бы и хотел, – они просто вошли в меня и растворились во мне, скрылись во мраке. В тех тайниках души, в которые решаешься заглянуть лишь изредка и, подергав запертую дверь, облегченно вздыхаешь. Но запах, идущий от этой двери, до сих пор преследует меня. Я искал его всю жизнь – слишком уж необычным он был, слишком неотвязным. Я искал его всю жизнь – но так и не приблизился к нему. Один-единственный раз я заговорил о нем с Анук, и ответом мне было молчание. Но молчание не сбilo меня с толку. Меня, сиамского брата; теперь я точно знал, что и она – ищет. Она начала искать этот запах раньше

меня, вернее, она никогда и не прекращала его искать. В ее обычной манере – ничего не делая для этого.

Анук никогда ничего не делала.

Она ничего не сделала и тогда, когда «ARSMORIENDI» впервые явилось нам; она лишь раздула ноздри, только и всего. Но я чувствовал, что Анук очарована: по-другому, чем я, но очарована. И я уже знал, что последует за этим, – Анук захочет владеть «Arsmoriendi» и запахом, идущим от него, безраздельно.

Так и произошло.

– Уходи, – сказала мне Анук. – Уходи. Это мое.

В другое время я бы не ушел ни за что, в другое время я бы вцепился ей в волосы и подмял под себя, – в другое время, но только не сейчас. Для борьбы за обладание пророчеством мне не хватило бесстрашия.

А Анук – она всегда отличалась бесстрашием, моя девочка.

Как бы то ни было, я ушел. Я позорно бежал с чердака, волоча за собой шлейф запаха, который ищу до сих пор. Я так и не смог определить его компоненты. Был ли он цветочным? Нет. Был ли он фруктовым? Вряд ли. То есть и те и другие ноты в нем, безусловно, присутствовали – не более. Но доминантой выступало нечто иное. Теперь, по прошествии стольких лет, я бы назвал это голосом неведомой мне плоти. Она неведома мне и до сих пор. И все попытки найти ее оказались тщетными.

Но тогда, в самый последний день августа, я не задумывался над этим. Чувство опасности и скрытой угрозы поглотило меня и напрочь лишило сил. Сидя на ступеньках деревянной лестницы и уткнувшись лбом в перила, я вдруг понял: наш общий с Анук мир исчез, распался, растворился в миске с горячей водой без остатка, оказался разрушенным до основания. И отныне нам никогда не придется засыпать одновременно, соединив шрамы на затылках. И отныне нам никогда не придется видеть одинаковые сны. И отныне мы никогда не будем вместе. Рядом – но не вместе.

Так впоследствии и произошло. В тот вечер я заснул, не дождавшись Анук. Впервые. Она все еще оставалась на чердаке, а подняться за ней мне снова не хватило бесстрашия. Коробка с лирохвостами исчезла – во всяком случае, я ее больше не видел, а Анук никогда не напоминала мне о ней.

К тому же Анук наконец-то вернула солнце. Утром следующего дня оно как ни в чем не бывало повисло над виноградником. Оно сделало все, чтобы я поскорее выбросил из головы и лирохвостов, и розу ветров, и чайные знамения.

И я выбросил.

Это произошло не сразу – ведь весь мой детский мир был сосредоточен в Анук, я даже приятелей не сумел завести: не очень-то нас жаловали в округе, сиамских щенков. Поначалу я все еще ходил за Анук, стараясь хоть чем-то заинтересовать ее; напрасный труд, ведь мое воображение и рядом не стояло с воображением Анук; бесплодной пустыней – вот

чем было мое воображение. Бесплодной пустыней, которая упирается лбом в забор цветущего сада.

О, она умела охранять свой сад, – Анук, моя девочка.

Поначалу я все еще ходил за Анук, а она... Она всеми силами старалась избавиться от меня. Она полюбила одиночество, она нуждалась в нем гораздо больше, чем во мне. Ни разу после бегства с чердака под молчаливое улюлюканье «Arsmoriendi» – ни разу после – мне не удалось увидеть, как просыпается Анук. Это до лирохвостов мы открывали глаза одновременно, теперь же все изменилось: ее подушка все еще хранила тепло, но сама Анук выскальзывала из нашей комнаты за несколько секунд до того, как начинали подрагивать мои ресницы. Или за несколько минут, что не имело принципиального значения. Как не имела значения чашка с молоком на кухне – недопитая Анук. Как не имела значения не прикрытая ею дверь. Уже тогда она научилась ускользать.

Ускользать было ее естественным состоянием.

Идти по ее следам – стало моим естественным состоянием. Я всегда шел по ее следам, зная, что не настигну Анук, – но какие откровения являлись мне на этом пути!..

Первым стала бойня.

Теперь-то я думаю, что никогда не узнал бы ее тайн, если бы Анук сама не хотела этого. В конце концов, мы были близнецами, как бы Анук ни отрешивалась от нашего родства; и какая-то часть в ней все равно принадлежала мне. Эта часть заставляла меня вздрагивать от боли, когда Анук

расшибала себе колени, эта часть заставляла меня темпери-
турить, когда Анук простужалась. Эта часть сажала красное
пятно на мою ладонь, стоило Анук обжечь свою. Эта часть
нашептывала мне непредсказуемые, как траектория птицы в
небе, маршруты Анука. Она же привела меня на бойню.

Бойня была запретным местом: даже ландшафт, ее окру-
жавший, разительно отличался от всех прочих ландшафтов
нашего с Ануком детства: никакого буйства зелени, никако-
го засилья птичьих гнезд, и хвоста от ящерицы обнаружить
невозможно. Чахлый кустарник и огромные каменные валу-
ны, – именно они обрамляли приземистый ангар и несколько
пристроек. И ангар, и пристройки были сложены из таких же
валунов, и отсвечивали красным: за долгие годы существо-
вания бойни кровь животных пропитала почву и намертво
приклеила камни друг к другу. Она же окрасила воду в ма-
леньком ручье, протекавшем неподалеку.

До осени, последовавшей за «Arsmoriendi», мы ни разу не
бывали там, хотя дед нашего деда проработал на бойне всю
жизнь – так гласило семейное предание. И отец деда, и сам
дед – до того как женился на бабке, да и потом тоже. Мы ни
разу не бывали там – нам вполне хватало дохлых стрекоз,
разбившихся стрижей и воспоминаний о шестнадцатилетней
девчонке, которая так и не успела побыть нашей матерью. Но
той осенью все оказалось иначе. Анук больше не устраивали
воспоминания, ей нужны были ощущения.

А мне нужна была Анук, моя девочка.

...Сломанная ветка (ее задела Анук), вывороченный с дороги камешек (его коснулся грубый ботинок Анук), сбитые верхушки болиголо́ва (Анук всегда была к нему беспощадна) – идти за Анук, угадывать ее за всеми этими ветками, камешками и мятым болиголовом – удовольствие не из последних. Это похоже на охоту с заранее известным финалом: ты обязательно угодишь в силки ее фиалковых глаз. Я слеую за Анук неотступно, стараясь не попасться раньше времени.

И – попадаюсь.

Анук сидит на самом ближнем к бойне валуне, прижав колени к подбородку. Я вижу узкую ложбинку на ее затылке и острые лопатки – такие острые, что кажется – они вот-вот порвут свитер.

– Ну что ты ходишь за мной? – спрашивает Анук, не поворачивая головы.

– Вовсе не за тобой, – огрызаюсь я. Впрочем, довольно миролюбиво. – Вовсе не за тобой, а просто так. Дура дурацкая.

– Уходи, – заводит она свою старую песню. – Уходи. Это мое.

– Ха-ха, – вместо того чтобы уйти, я устраиваюсь рядом с ней и так же прижимаю колени к подбородку. – Место не купленное. Где хочу, там и сижу.

– Ну, сиди...

За последующие несколько часов мы не произносим ни

слова. В любое другое время я бы давно ушел: сидеть на камне неудобно и холодно, ноги затекли, и к тому же рот переполнен горькой слюной – от запаха, витающего над бойней. В любое другое время, – но только не сейчас. Что делает здесь Анук, почему она пришла сюда, – любопытство оказывается сильнее, чем запах. И оно вознаграждается.

Отсюда, с валуна, нам видна лишь задняя часть ангара и желоб, идущий от боковой стены: то, что происходит на бойне, скрыто от посторонних глаз. Но не от ноздрей. В какой-то момент ноздри Анук начинают знакомо вибрировать и с шумом втягивают воздух.

– Ну как? – вопрос застает меня врасплох.

– Что – как? – я моментально начинаю злиться на Анук, которая никогда и ничего не объясняет.

– Ничего не чувствуешь?

Я чувствую только холод и легкое покалывание в онемевших пальцах: не очень-то мне нравится это место, что уж тут говорить. Поэтому мне остается лишь пожать плечами и сплюнуть вязкую слюну.

– Значит, ничего? – голос Анук полон скрытого торжества. – Зажмурься и дыши. Только как следует дыши...

Я подчиняюсь Анук (я всегда подчиняюсь Анук), и теперь ничто не отвлекает меня от крошечной темени перед глазами. И в этой темени... В этой темени начинает проступать...

– Ну! – Анук нетерпелива. Так же нетерпелива, как и ее рука: она покоится сейчас на моем шраме. – Неужели не чув-

ствуешь?!

Ну конечно же! Запах, до этого такой тяжелый, что его без всякой натяжки можно назвать вонью, самым неожиданным образом меняется. Он как будто распадается, как мелодия распадается на ноты. И в самой сердцевине этой мелодии, высоко-высоко, звенит одна-единственная, главная нота. Она спускается по руке Анук и через предательский непрочный шрам заползает мне в черепную коробку. И звенит, звенит, звенит...

– Ну? – снова повторяет Анук. – Ты узнал?

Это не запах «Arsmoriendi» – тот был сложнее и тоньше, но в высоком регистре они смыкаются... Все так же не открывая глаз, я нащупываю в кармане свои нехитрые сокровища: моток проволоки, ключ от потерянной двери – из его полого ствола можно выдувать самые разные звуки; высохшую тыковку с такими же высохшими семенами внутри; кусок фольги, два стеклянных шарика; крошечный металлический волчок, бывший когда-то предсердием часов. И несколько миндальных орехов без скорлупы.

Я почти уверен. Почти уверен.

Осталось только раздавить орехи в ладони – и запах будет пойман.

– Ты узнал?..

Нет, это совсем не миндаль; я понимаю это в тот самый момент, когда в желобе, идущем от ангара, появляется узенькая струйка. Поначалу она кажется мне черной, но только

поначалу. Не встретив никаких препятствий и освоившись в гладком желобе, струйка набирает силу и становится струей. Того же цвета, каким пропитаны камни. Все остальное дорисовывает мое воображение. Неуклюжее, неповоротливое, но вполне способное справиться с видом перерезанного горла.

– Не узнал... Эх ты... – Анук разочарована.

А я ненавижу, когда она разочаровывается во мне, Анук, моя девочка.

Подстегиваемый этим, я несколько дней ищу так поразивший меня запах. И в конце концов нахожу: на заброшенном подоконнике веранды, среди массы цветочных горшков, не очень-то дед следит за ними. Запах (гораздо более слабый, чем на бойне, но тот самый, тот самый!) идет от растения с крупными игольчатыми листьями и такими же крупными, бледно-розовыми цветами. Тонкие лепестки больше похожи на папиросную бумагу, они легко скатываются в трубочку и пропускают свет. В тот же день я выпытываю у деда название – китайская роза.

Или гибискус.

«Гибискус» нравится мне гораздо больше, чем пошловатая «китайская роза», во всяком случае, это больше соответствует гибельному духу бойни. Но идти с гибискусом к Анук не имеет смысла: наверняка она уже потеряла к нему всякий интерес. Для Анук все мои открытия – вчерашний день. Даже такое эпохальное: чья-то смерть на бойне, – смерть, которую мы так и не увидели, – отдает китайской розой. Я и сам

не в восторге от подобного открытия, что порождает очередную волну бессильной злости на Анук: без нее все эти мыслишки никогда бы не завелись в моей голове.

Анук плевать на мою злость. Впрочем, на меня ей тоже наплевать. И на деда, который называет нас «волчатами». «Волчата» – не самое худшее из оскорблений, летящих нам в спину, но Анук мало беспокоит, что творится у нее за спиной.

Ее вообще мало что беспокоит, Анук, мою девочку.

Она не ходит в школу, не ходит просто так, без всяких на то причин. И мне приходится отдуваться за двоих: каждый день, кроме воскресений.

Каждый день, кроме воскресений, я жду.

Я жду, когда закончится урок, когда закончатся уроки, когда закончится четверть, когда закончится год. В перерывах между ожиданием я умудряюсь совсем неплохо учиться. Это вызывает ярость одноклассников и умиление учителей: надо же, каков ты, сиаковский щенок, соображаешь!.. Не меньшее умиление вызвал бы у них лосось на нересте, если бы вдруг заговорил.

Со мной тоже заговаривают; но исключительно для того, чтобы пригвоздить к парте набившим оскомину вопросом: «Это правда, что твоя сестра – сумасшедшая?» Ответить на него положительно означало бы – предать Анук.

Я не могу предать Анук. Я – трусливый, никчемный братец – не могу предать Анук. И получаю за это по полной.

В дальнем углу школьного двора, у глухой стены, заросшей репейником и всегда влажной пастушьей сумкой. Странно, но череп мой оказывается не таким уж мягким, он вполне достойно отражает удары нескольких пар ботинок. Я почти не защищаюсь, я впадаю в оцепенение, в котором, однако, есть место для репейника, пастушьей сумки, мелкой гальки, осколков стекла; насекомых с раздвоенным хвостом, похожим на садовый секатор, – медведки, вот как они называются. Масса запахов ворочается вокруг меня, масса запахов проникает сквозь кожу, – но ровно до того момента, пока их не перешибает один-единственный запах.

Запах моей собственной крови, сочащейся из носа.

Именно здесь меня и поджидает главное унижение, главное разочарование: моя кровь пахнет только кровью. Кровью, и больше ничем: ни миндалем, ни ванилью, ни смородиной, ни гибискусом. Анук умерла бы со смеху. Или вцепилась бы мне что-нибудь похожее на: «Я так и знала, ничего интересного в тебе нет...»

– Я так и знала, – говорит Анук.

Я не вижу ее глаз, скорее всего, они рассеянно прыгают по строчкам книги, лежащей у нее на коленях. Когда Анук не шляется по окрестностям, не отирается на бойне, не отсиживается на чердаке, – ее почти всегда можно застать здесь, на веранде, с этой чертовой, поблекшей от старости, книгой в руках. Книга всегда открыта ровно посередине, и я уже успел зазубрить ее название: «Ключ к герметической фило-

софии». Из всех слов мне понятно лишь одно-единственное – «ключ». И это слово как нельзя более подходит самой Анук.

Она и есть ключ. Ключ ко всему, Анук, моя девочка.

– Я так и знала, что тебе когда-нибудь расквасят физиономию...

– Тогда спроси у меня из-за чего...

– И спрашивать не буду. Потому что ты – это ты.

– Нет. Потому что ты – это ты. Дура дурацкая.

Анук пожимает плечами. Ее нисколько не волнуют мой распухший нос, синяк под глазом и багровая шишка на лбу. И только теперь я понимаю, что Анук не нужна верность, а предательство она и вовсе счастливо не заметит.

– Может, я и дура, но морду начистили тебе, – веселится Анук. – Зачем ты только ходишь туда?

– Ни за чем...

Она делает это ровно за секунду до того, как я решаюсь об этом подумать: срывает цветок гибискуса и мнет его в пальцах. А потом бросает сморщенные лепестки в книгу и с шумом захлопывает ее.

– Ты и читать-то не умеешь! – наконец-то выпаливаю я давно заготовленную фразу. – И вообще – ты сумасшедшая. Все так говорят.

– А ты? Ты тоже так говоришь? – Анук совершенно спокойна.

– Нет... – почему-то страшно пугаюсь я. – Нет! Ты что...

Фиалковые глаза смотрят на меня. Нет, не так: фиалковые глаза смотрят сквозь меня. И это самый рассеянный взгляд из всех рассеянных взглядов Анук.

– А ты скажи то же самое. Правда, скажи...

– Нет... Ты что?!.

Анук легко огибает меня, легко касается шрама на затылке и уходит – унося с собой запах гибискуса. И все остальные запахи заодно. Нет, не так: запахи устремляются за ней подобно отаре глупых овец, устремляющихся за вожаком. Потом, не догнав Анука, они все же возвращаются – нехотя, хромая на обе ноги, ворча и ругаясь. И мне на долю секунды кажется, что они грызутся между собой за право обладать Анука, за право присвоить ее себе. И мне на долю секунды кажется, что за право присвоить ее себе я и сам отдал бы все на свете.

Но обладать Анука невозможно, как невозможно больше терпеть издевательств одноклассников и запах собственной крови, удручающе однообразный. Все меняется в тот день, когда я, сжав зубы, следуя совету Анука.

– У нее и правда не все дома, и кончит она в психушке.

Капитуляция происходит все там же, у навязшей в зубах стены – в дальнем углу школьного двора. Она вовсе не выглядит унижительной, к тому же условия, на которых отныне существует побежденная сторона, можно назвать идеальными: я перестаю быть изгоем. Я становлюсь таким, как все. Таким, как все.

Что уж тут поделать – либо ты выбираешь Анук, либо ты выбираешь все остальное.

Выбрав остальное, я сразу же получаю свору приятелей; футбол на пустыре – у западной оконечности поселка; казаков-разбойников в роще из пиний – у южной оконечности поселка. Я получаю право подкладывать кнопки на стулья, натирать доску воском, курить в туалете, измерять линейкой член, мочиться на географические карты (это получается у меня лучше всего, по дальности струи и точности попадания мне нет равных).

Я больше не думаю о запахах, я больше не вспоминаю об «Arsmoriendi», вернее – я стараюсь не думать и не вспоминать. И у меня почти получается. Почти – но только до тех пор, пока я не натыкаюсь на Анук. Именно так: на Анук я могу только наткнуться. Мы не видимся днями, иногда – неделями, хотя по-прежнему спим в одной комнате. Я не знаю (теперь уже не знаю), что снится Анук. Мои же сны больше похожи на кошмары, они всегда начинаются и заканчиваются одинаково: с чайной жестянки, украшенной лирохвостами. Иногда я сижу в ней – в позе зародыша, скрючившись, сгорбившись, свернувшись в тугую петлю. Иногда я разбиваю лоб о тонкие стенки: в кошмарах они вовсе не кажутся тонкими и сложены из тех же красноватых камней, что и бойня. Иногда я пытаюсь попасть в жестянку, но крышка не поддается, а роза ветров в левом верхнем углу причудливо меняет очертания: ее лучи становятся похожи на лезвие де-

дова ножа. И я знаю, знаю, куда нацелено лезвие!.. По лабиринтам кошмаров я брожу в полном одиночестве – в полном одиночестве, среди вещей, значение которых мне непонятно. Но все они как-то связаны с Ануком. Или со снами самой Анука... Ну да, это вещи из снов Анука, они просачиваются в мои кошмары сквозь узкую щель шрама на затылке. Жаль, что я понимаю это слишком поздно. Я понимаю это лишь тогда, когда Анука исчезает.

Она умеет исчезать как никто – Анука, моя девочка.

Я смутно помню день, из которого исчезает Анука. Он теряется в засаленной колоде таких же дней: трюфелевая десятка – мы с моим дружкой Нодаром с упоением дрючим в пинетной роще на невесту как попавший в наши края журнал «Плейбой» (Нодар погибнет чуть позже, на войне, в которой потонул и наш поселок, – но это совсем другая карта). Семерка пик – я на спор целую толстуху Мириам, дочку директрисы (и по совместительству – химички), я целую ее и даже не получаю за это по морде. Бубновый валет – нашего историка (и по совместительству преподавателя физкультуры), светлоглазого красавца Тельмана, находят повесившимся в собственном сарае; веревка перекинута через толстую балку, на которой сидят нахохлившиеся куры...

И, наконец, дама червей.

Дама червей – день, из которого исчезает Анука. Хотя для этого события больше подошел бы джокер. Тот самый, его вытянул напоследок Диллинджер – за несколько десятиле-

тий до рождения Анук...

Я понимаю, что ее больше нет, когда возвращаюсь домой: в сумерках, насквозь пропитанных инжиром, туманом и козьим молоком. Дом выглядит как обычно, сад выглядит как обычно, — необычной кажется лишь навалившаяся на меня странная пустота. Она приходит ниоткуда и сосет, сосет мне сердце. Я бессильно опускаюсь на ступеньки веранды и прижимаю ладонь к шраму на затылке. От него-то — горящего, растерянного, — я и узнаю: Анук больше нет.

Анук больше нет, она ушла, она бросила меня — оставила, покинула.

Она не взяла из Дома, в котором прожила неполных шестнадцать лет, ровным счетом ничего. Или — почти ничего: старый свитер, шерстяная юбка и «Ключ к герметической философии» не в счет. Спустя пару дней я обнаруживаю пропажу дедова ножа, сверчки и раковины так и не смогли расстаться с Анук. Но, в конце концов, она имеет право на этот нож, что уж тут поделаешь...

Исчезновение сумасшедшей Анук занимает умы жителей поселка гораздо меньшее время, чем самоубийство Тельмана, — всего-то пару месяцев на стыке поздней весны и раннего лета. Ранним летом появляется новая пища для разговоров: а ну как между двумя этими событиями существует связь? Находятся даже свидетели, которые видели Тельмана и Анук вместе: у заброшенной плотины, у пиниевой рощи, у ручья при бойне. Свидетелям — слепому на один глаз Автан-

дилу и толстухе Мириам (безответная любовь к Тельману так и не заставила ее похудеть) – верят безоговорочно. Настолько безоговорочно, что мне приходится отдуваться за Анук: поселковый милиционер Ваха снимает показания с меня и с деда, единственных родственников пропавшей. Все заканчивается кувшином вина, – дед и Ваха распивают его на веранде. Тем самым кувшином, который дед закопал в саду в день, когда сверчки с раковинами отделили нас с Анук друг от друга. Тем самым кувшином, который должен был стоять на столе в день нашего шестнадцатилетия.

Это означает лишь одно: дед больше не верит в возвращение Анук.

Никто не верит в возвращение Анук.

Я тоже не верю в возвращение Анук, но я, во всяком случае, знаю, что она – жива. Я знаю это точно. Если бы было по-другому – шрам сиамского братца шепнул бы мне об этом.

Как бы то ни было, лето проходит в тоске по Анук.

Эта неясная, саднящая тоска ссорит меня с Нодаром: чертов сукин сын как-то проговаривается, что жалеет лишь об одном – он не трахнул Анук. Переспать с ненормальной – не самая хреновая сексуальная фантазия... Ты ведь не был бы против, Гай? Дурацкий вопрос стоит моему приятелю зуба, а мне – ребра. И нам обоим – многолетней дружбы, Анук бы этого никогда не оценила.

Не оценила бы она и того факта, что (благодаря усилиям Автандила, Мириам и завсегдатаев поселкового магазинчи-

ка, в котором оптом и в розницу отпускаются слухи) имя ее становится почти легендарным. Ей приписывают двухлетней давности падеж скота, прошлогодний сход селевого потока в тридцати километрах от поселка, лунное затмение, случившееся в январе. Ей приписывают смерть не только Тельмана, но и смерть братьев Костакисов, Яниса и Тео, хотя давно известно, что оба бесшабашных грека свалились в пропасть на своей раздолбанной старой «Татре». И даже в смерти любимой коровы слепого на один глаз Автандила виноватой оказывается Анук.

Но исчезновение Анук имеет и свои положительные стороны: мне перестают сниться кошмары. Мне вообще перестает что-либо сниться: пустые коридоры снов оказываются восхитительно стерильными, в них больше нет вещей Анук, а своими я так и не успел обзавестись. Или – не смог. В любом случае смириться с этим гораздо легче, чем с потерей самой Анук.

И я смирился, я перестал надеяться, что они вернутся – мои сны, – хотя все время ждал их возвращения. И они вернулись. Спустя несколько лет, когда я и думать забыл о поселке, в котором провел большую часть своей жизни. И который – вместе с дедом и всеми его обитателями – оказался погребенным под руинами маленькой южной войны в маленькой южной республике.

Я не задумываясь сменил юг на север; на пару лет позже, чем это сделала Анук, – но сменил. За эти пару лет я успел

прибавить в росте тринадцать сантиметров и остановился на классических ста восьмидесяти пяти. Я успел нагулять мышечную массу и кубики на животе; я успел обзавестись тошнотворно-неотразимым подбородком с ямкой, классической легкой небритостью, выгодно подчеркивающей скулы, и – своей собственной тайной. Тайна выглядит несколько легкомысленно и вполне умещается в толстой тетради – в клетку, с добротным коленкорovým переплетом, таких больше не выпускают. В этой тетради я классифицирую запахи и их описания. Эта тетрадь – моя единственная, пусть и иллюзорная, связь с Анук. Справедливости ради, запаха гибискуса я больше не встречал: север беднее юга, во всяком случае, так мне кажется поначалу. Не встречал я и запаха «Arsmoriendi» (в моей тетради он занимает последнюю страницу и снабжен жирным вопросом – на эту страницу я почти не заглядываю). Не встречал, потому что не мог встретить: по прошествии стольких лет «Arsmoriendi» кажется мне страшной сказкой, рассказанной на ночь, – не более. В нее нельзя поверить до конца, но и отвязаться от нее невозможно. Первые записи в тетради – наивные, больше похожие на плохие стихи – датированы югом. Север привносит в них жесткость и снабжает формулами: я учусь в химико-технологическом, Анук умерла бы со смеху.

В свободное от института время (его оказывается гораздо больше, чем можно было предположить) я подрабатываю моделью в агентстве со лживым названием «All Stars». Ни-

каких особых звезд на его небосклоне не сияет, так – молодое мясо для показов модных коллекций, массовка для клипов и безликие физиономии для рекламы продукции местных производителей.

Я специализируюсь на компьютерной технике, энергетических напитках и ампула неверных любовников: безмозглые поп-дивы в своих безмозглых поп-клипах любят пострадать. И эти целлулоидные, наспех зарифмованные страдания выглядят так же нелепо, как страдания какого-нибудь гамбургера или хот-дога. Впрочем, я так их и называю – хот-доги с сиськами. Время от времени хот-доги проявляют ко мне нешуточный интерес и даже предлагают «сделать это побыстрому», но подобные кавалерийские наскоки заканчиваются ничем. Уж я-то знаю, что за спиной каждого хот-дога маячит монументальная фигура бойфренда, которому ничего не стоит состряпать из меня сырковую массу и размазать ее по стене.

Девушки у меня нет.

Я и сам отдаю себе отчет, что выглядит это не вполне нормально: здоровый двадцатилетний парень не может не иметь таких же здоровых потребностей, но... Никто до сих пор не тронул меня по-настоящему. Стоит мне только завести знакомство с девушкой – дальше чашки кофе в кофейне или бокала вина в клубе дело не идет. Ничьи глаза не могут сравниться с давно забытыми фиалковыми глазами Анук, в них не хватает чего-то самого главного. Чего – я так и не могу

объяснить. А она...

Она умеет напоминать о себе в самый неподходящий момент, Анук, моя девочка.

И тогда – за чашкой кофе или за бокалом вина – я начинаю думать о ней. Какая она сейчас? Вернее, какой она могла бы стать... Странно, но я не могу представить рядом с ней никого, ни один мужчина не попадает в поле моего внутреннего зрения. Только запахи. Запахи, которые она притягивает, – целая свора запахов. Девушки, частенько сидящие напротив меня, тоже обладают запахом: прямолинейным и безыскусным запахом парфюма – дорогого и не очень. И это тоже мешает мне увлечься хоть кем-нибудь по-настоящему. Все то время, на протяжении которого очередная претендентка о чем-то весело щебечет, меня не покидает ощущение фальши происходящего: капли духов, стягивающие запястья или повисшие на ключицах, как будто призваны скрыть пустоту, обвести вокруг пальца, надуть меня. Но надуть меня, сиамериканского братца с глазастым шрамом на затылке, невозможно.

Все меняется, когда я встречаю Мари-Кристин.

Marie-Kristine Sauvat, совладелицу модного дома «Sauvat & Moustaki». Далеко не самого раскрученного, но достаточно амбициозного. Наша первая встреча проходит совершенно незаметно для меня – на неделе prêt-à-porter, такие радости у нас тоже случаются. Мари-Кристин (имя ее дома по замыслу организаторов должно украсить происходящее и придать ему необходимый масштаб) представляет коллек-

цию «Vareuses», до которой мне нет никакого дела. Я занят в показе совсем другого модельера, совсем в другой день и одержим единственной здравой мыслью: на что бы потратить причитающиеся мне сто пятьдесят баксов.

Но ста пятьюдесятью баксами дело не заканчивается: на пати, венчающем неделю, нас представляют друг другу. Как раз в тот самый момент, когда я пожираю тарталетку с икрой и запиваю его полувыдохшимся шампанским. Появлению Мари-Кристин в моей жизни предшествует именно это: бокал шампанского и тарталетка, которой я едва не подавился. Еще не видя Мари-Кристин, а только предчувствуя ее приближение, я понимаю: в ней гораздо больше настоящего, чем в ком бы то ни было.

Никакого компрометирующего запаха духов я не улавливаю.

Но токи, исходящие от нее, неожиданно кружат мне голову. Несколько секунд уходит на то, чтобы справиться с головокружением и пропихнуть остатки икры в желудок.

Первый же вопрос, заданный на вполне сносном русском, повергает меня в недоумение.

– Вы не гей?

– Нет. А надо? – я даже не нахожусь, что ответить.

Она вовсе не торопится продолжить беседу, она просто рассматривает меня, как рассматривают экзотическое животное прежде, чем снять с него шкуру. Ну что ж, сыграем в вашу игру, madame. Наши взгляды сталкиваются на полпу-

ти и имеют разнонаправленные заряды: я банально раздеваю ее, а она... Она одевает. Шерстяная матроска мне бы, безусловно, пошла, равно как и двубортная куртка: денди-минималист, почему нет? А может, что-нибудь в стиле киногороев раннего Марлона Брандо – кожаная кепка, вылинявшие джинсы и пояс, сдвинутый набок?..

Определить, сколько ей лет – невозможно. Ясно только, что она намного старше меня: я вполне допускаю, что именно на те самые двадцать лет, которые я уже прожил.

– Хотите работать у меня? – спрашивает Мари-Кристин.

– Хочу, – не раздумывая ни секунды, отвечаю я.

– Отлично. Завтра подписываем контракт.

– А сегодня?

Мари-Кристин смеется: очевидно, моя щенячья наглость ее забавляет.

– Сегодня я свободна. Хотите показать мне город?

– Хочу, – не раздумывая ни секунды, отвечаю я.

– Сначала уйду я, а затем вы...

Я проницательно улыбаюсь: madame хочет поиграть, ну что ж. Но покинуть канареечное пати сразу не удастся. Мари-Кристин задерживает кто-то из ее знакомых, я же предупредительно отхожу в сторону и с самым независимым видом подхватываю с подноса еще один бокал: на сей раз не шампанского, а бренди. И тотчас же забываю о Мари-Кристин и о приключении, которое еще не началось. А все из-за неожиданно ударившего мне в нос запаха гибискуса. Я чув-

ствую его так же остро, как и много лет назад, у бойни. Запах исходит от группы девочек-моделей, непринужденно позирующих заджинсованному прощелыге-фотографу. Через неделю все эти безупречные, как банковские купюры, личики появятся в какой-нибудь глянцевої мути – плотно зажатые между рубриками «Стиль жизни» и «10 мнений о женском оргазме». Но меня интересует только запах из детства – именно на него я и иду. И стоит мне подойти поближе, как он приобретает четко очерченные границы. И они самым непостижимым образом совпадают с границами тонкого силуэта девушки – в коктейльном платье с набивным рисунком из роз. Я знаю эту девушку, с ней мы отработали несколько показов. Ее зовут... ее зовут то ли Лия, то ли Ли́ла, она этническая брюнетка, ей идут свитера с высоким воротом из толстой шерсти, а в шифоне она и вовсе неподражаема.

Ли́ла отделяется от группы в тот самый момент, когда запах гибискуса перехватывает мне дыхание. Перецеловав всех подружек и послав воздушный поцелуй фотографу, Ли́ла направляется к выходу. Я, как сомнамбула, следую за ней и спустя пару минут оказываюсь на улице. С глупым бокалом бренди в руках. И с еще более глупым выражением лица. Мне остается лишь наблюдать, как Ли́ла и тянувшийся за ней шлейф из гибискуса садятся в двухместный красавчик «Порше» с тонированными стеклами. Издав короткий рык, «Порше» исчезает в смуглых сумерках.

– Я же сказала, что первой ухожу я, – раздаётся голос за

моей спиной.

Это Мари-Кристин.

– Инициатива наказуема? – я слегка трясую головой, чтобы избавиться от наваждения. И – избавляюсь.

– Только не сегодня, – Мари-Кристин улыбается мне. – Что это у вас?

– Бренди. Хотите?

– Хочу...

Она вынимает бокал у меня из рук и залпом выпивает.

– Говорят, у русских есть примета: если выпить из чужого бокала, обязательно узнаешь чужие мысли.

– Ну-у... Я не совсем русский... – Мари-Кристин нравится мне все больше.

– Не совсем?

– Во всяком случае – наполовину точно не русский. Я родом из Абхазии. Это юг.

– Я люблю южан. – Мари-Кристин касается моей щеки кончиками пальцев, холодных и властных. – Южане мечтательны и красиво лгут. О, это большое искусство – красиво лгать...

– Хотите, чтобы я солгал вам?

– Не сейчас... Вы еще успеете это сделать. – Мари-Кристин нравится мне все больше, Мари-Кристин нравится мне чертовски, и мне почему-то совершенно наплевать на разницу в возрасте.

– Хотите, я покажу вам город?

– Хотите, я покажу вам город? – Мари-Кристин делает многозначительное ударение на «я». – Он прекрасно смотрится из окон моего номера.

...Города из окон ее номера мы не видим: кровать стоит у противоположной стены. Тело моей первой женщины нельзя назвать безупречным, но именно несовершенство и делает ее живой. И волнует меня.

– Ты красивая, – я осторожно наматываю на палец прядь ее волос, слегка тронутых сединой. Бесстрашные волосы бесстрашной женщины, которой наплевать на время. – Ты красивая...

– Я знаю. Расскажи мне о своем детстве, Ги.

– О детстве? – я на секунду задумываюсь. – В нем не было ничего интересного.

– А твои родители, где они?

– Они умерли.

– Прости. – Мари-Кристин нежно целует меня в лоб. От шестнадцатилетней девчонки, которая так и не успела по-быть нашей с Анук матерью, я бы такой нежности не дождался. Наверняка.

– Ничего. Это было давно. Я не помню своих родителей. Откуда ты знаешь русский?

– Моя бабушка эмигрировала из России. У тебя были женщины? До меня?

– Нет. Ты первая.

– Но почему? Такой красивый мальчик... – Она осторож-

но наматывает на палец прядь моих волос. Трусливые волосы трусливого сиамского братца, разом отказавшегося от Анук.

– Так получилось...

– Ты не пользуешься парфюмом, Ги. Почему? Все молодые люди твоего возраста...

– Ты тоже не пользуешься...

Мари-Кристин улыбается мне – я вижу, как в смуглых сумерках поблескивают ее зубы.

– Надеюсь, мы пришли к этому разными путями...

Конечно разными, Мари-Кристин. Я бы очень удивился, если бы оказалось иначе.

– Ты ведь когда-нибудь расскажешь мне, Ги?

– Когда-нибудь расскажу...

– Откуда у тебя этот шрам? – С хладнокровным любопытством естествоиспытателя Мари-Кристин изучает мой затылок.

– Это старый шрам, – я на секунду задумываюсь. – Стукнулся головой о камень. Еще в детстве.

– А ты говоришь, что в нем не было ничего интересного, – уличает меня Мари-Кристин. – Ты ведь когда-нибудь расскажешь мне?

– Когда-нибудь расскажу...

Как там говорила Мари-Кристин? Южане умеют красиво лгать? Еще лучше у них получается лживо помалкивать.

Утром следующего дня я подписываю контракт с «Sauvat & Moustaki». А вечером узнаю о смерти Лилы. Об этом

мне сообщает ее подруга, любительница ароматов от Живанши, – последняя в списке тех, кто не смог заарканить меня. Ее голос в телефонной трубке подрагивает и срывается, а слова жмутся друг к другу, как слепые котята: «ты даже не представляешь что случилось Гай ты ведь знаешь Лилу хорошенькая такая кореяночка ну вспомни так вот ее нашли сегодня с перерезанным горлом господи какой кошмар я поверить не могу это ужасно ужасно с перерезанным горлом в собственной постели может мы увидимся на днях Гай?..»

С перерезанным горлом... в собственной постели... запах гибискуса... «Порш» с тонированными стеклами... вязкая струя в желобе, идущем от бойни... запах гибискуса... в конце концов...

В конце концов, мне нет до этого никакого дела. Жалко девчонку, но лучше не забивать голову фантазиями, порожденными давно исчезнувшей Анук.

Последующие две недели я стараюсь не думать о Лиле, последующие две недели я занят Мари-Кристин: она задерживается в России, но не из-за меня – Мари-Кристин ведет переговоры об открытии бутика. И получает заказ на создание фирменного стиля и униформы для персонала недавно открывшегося пятизвездочного отеля.

В Париж мы летим вместе.

Париж, – Анук умерла бы со смеху, если бы знала, что существует Париж...

Мари-Кристин живет в зажиревшем и высокомерном

шестнадцатом округе, я явно туда не вписываюсь. Я – всего лишь каприз преуспевающей madame. Каприз, который придает пикантность ее существованию, – во всяком случае, нам обоим хочется думать именно так. Но и на роль жиголо я бы никогда не согласился: Мари-Кристин не содержит меня, она платит за работу. За дневную, а не за ночную. Деньги не бешеные, но они позволяют мне снимать небольшую квартирку на рю де ла Гранж и время от времени обедать с Мари-Кристиной в «Ле Режанс».

Я предпочитаю менее изысканную кухню – маленькие быстро у площади Аббатис или североафриканские забегаловки в прямом Бельвиле. Не то чтобы Париж так уж нравился мне, но он забивает все поры. И окрашивает кожу в перламутр – с самыми разнообразными оттенками: голубыми, розовыми, желтоватыми. Точно такие же облака – голубые, розовые, желтоватые – проплывают над каналом Сен-Мартен, Анук наверняка заночевала бы именно здесь, на какой-нибудь барже...

А я иногда – совсем не часто – ночую у Мари-Кристины.

Мари-Кристин обожает окна без штор, старые американские фильмы с субтитрами и Бадди Гая. Наши ночи пронизаны его бесконечными блюзами и такими же бесконечными рассказами Мари-Кристины о его первой гитаре: оказывается, он сам склепал ее из металлической коробки из-под сигар, бедный негритянский малыш. Я не сразу понимаю, почему Мари-Кристин так одержима полузабытым блюзменом –

именно одержима, никак иначе. А ларчик открывается просто – следующая ее коллекция посвящена именно Бадди Гаю, воспоминаниям о Бадди Гае, ощущениям от Бадди Гая.

– Блюз – это как путешествие вниз по реке, – нежно вколачивает в меня Мари-Кристин. – Это – как путать право и лево. Это – как обнаружить в своих снах чужие сны...

Свежая мысль, но это совсем не блюз, Мари-Кристин.

Мягкие фетровые шляпы с бесформенными краями, шелковые рубашки и галстуки, широкие фланелевые брюки и жилетки с меховым подбоем – это и есть «Riffin», путешествие вниз по реке. Путешественники – в основном блондины с нордическим профилем: именно такой типаж предпочитает старый педрила Азиз Мустаки, старший партнер Мари-Кристин. Я – вызывающе брюнетистый, плохо выбритый и длинноволосый – принадлежу к тем немногим, кого он даже не пытается погладить по заднице. К тому же я нахожусь под покровительством Мари-Кристин.

За «Riffin'ом» следует коллекция, навеянная «Мальтийским соколом» и Хамфри Богартом: жилетки сменяют твидовые пиджаки, а шелковые галстуки – галстуки из шерсти.

Шляпы (несколько видоизмененные) – остаются.

Темы следующих коллекций возникают в самых непредсказуемых местах, по которым любит таскаться Мари-Кристин: старые кинотеатры, заброшенные пакгаузы, автомобильные свалки, рыбный рынок в Дьеппе – там Мари-Кристин целый час, как зачарованная, стояла возле корзины с

ракушками святого Иакова, а потом еще два часа тянула сидр с владельцем корзины.

Я люблю сопровождать Мари-Кристин и люблю наблюдать за ней. Сначала я еще пытаюсь уловить момент озарения, которое заставляет Мари-Кристин брать в руки карандаш и набрасывать силуэты на мелованных листах бумаги, обратной стороне счетов или салфетках. Но со временем теряю интерес и к этому: только дураку нравится изучать творческий процесс со стороны. Оставив в покое Мари-Кристин, я полностью сосредотачиваюсь на себе: вернее, на своей тетради в коленкоровом переплете. Ее необходимо пополнять. В поисках новых запахов я прочесываю Париж – квартал за кварталом, округ за округом. Я сижу в турецких кофейнях, гроздьями свисающих с Фобур-Сен-Дени, я наматываю километры в Чайна-тауне у площади Италии и дежурю у центра дервишей-суфиев неподалеку от рынка Монтрей. Ничего сверхъестественного, ничего запредельного до сих пор обнаружить не удалось, хотя мускус, иланг-иланг, амбра, индийский жасмин и бобы тонка уж точно не застанут меня врасплох. Я не знаю, зачем я собираю все эти запахи и откуда вообще взялась подобная застенчивая страсть – я знаю только, что все строки, все клетки в чертовой тетради должны быть заполнены. Вплоть до последней страницы; а это значит, что от «Arsmoriendi» мне все равно не отвертеться.

На то, чтобы добраться до конца, у меня уходит около четырех лет.

За это время почти ничего не меняется: разве что наши отношения с Мари-Кристин становятся чуть более сдержанными. Еще каких-нибудь полгода-год — и она потеряет ко мне всякий интерес, и тогда придет черед нового брюнетистого счастливца. Но я по-прежнему (в пику тупоносым норманнским любимчикам старшего партнера) считаюсь ведущей моделью «Sauvat & Moustaki» и в этом качестве скачу по самым разнообразным подиумам Европы.

Коридоры моих снов по-прежнему стерильны.

Я так привык к их стерильности, что засыпаю с самым скужающим видом: даже если держу в руках изученное до последней родинки тело Мари-Кристин.

Но в ту субботу (или это была пятница?) все происходит совсем иначе. Впервые за восемь лет я натываюсь во сне на что-то давно забытое. Кажется, это та самая жестянка с лирохвостами. Она не пугает меня, как бывало в детстве, она лишь меланхолично покачивается у меня перед глазами. Я не могу точно сосчитать, сколько граней, сколько углов насчитывает жестянка, и стоит только слегка приоткрыться крышке — просыпаюсь в холодном поту. Простынь подомной сбита и тоже пропитана потом, а шрам на затылке горит. Чтобы хоть как-то остудить его, я отправляюсь в душ и сижу под плотными прохладными струями несколько часов. Самые странные, самые удивительные мысли пасутся в моей голове — и все они касаются Анук. Задвинутой в самый дальний угол памяти, но совсем не забытой Анук.

Подстегиваемый этими мыслями, я звоню Мари-Кристин и отказываюсь от поездки в Ле-Трепор, она была запланирована еще неделю назад: моей сдержанно-эксцентричной модельерше просто необходимо посетить тамошнюю гавань, набитую катерами и местной камбалой «соль». Мари-Кристин вежливо выслушивает мои сбивчивые, маловразумительные объяснения («отвратительно себя чувствую, озноб и температура, даже не знаю, что делать, дорогая...») и – после непродолжительного молчания – так же вежливо советует залезть в постель и не высовываться оттуда до ее приезда.

Я клятвенно обещаю так и поступить.

Я почти не вру Мари-Кристин – меня действительно колотит озноб, а температура поднялась до тридцати восьми.

Целый день я не подхожу к телефону, целый день я тупо валяюсь перед телевизором и щелкаю кнопками пульта. А к вечеру, устав от самого себя, отправляюсь на бютт Шомон². Мне почему-то кажется, что если я и должен встретить Анук, то встречу ее именно там, в патриархальных улочках, увитых жасмином и сиренью. Именно там, на брусчатке, сквозь которую пробивается трава, мне явственно слышится стук ее ботинок. Шрам сиамского братца не может меня обмануть.

Он не может меня обмануть – и обманывает.

Анук нигде нет.

Но сны продолжают подкидывать мне сюрпризы. Теперь я брожу в них по щиколотку в воде, то и дело натываясь на рос-

² Холм «Известковая гора».

сыпи странных монет. Я же ищу одну-единственную – ослепительно-желтую, с дыркой посередине и корабликом сбоку. Монет становится все больше, и они, в конце концов, образуют холм, схожий очертаниями с бютт о'Кайль³, я был там всего лишь пару раз... Прodrаться на вершину не так-то легко: для этого мне приходится перескакивать с монеты на монету. Они прямо на глазах увеличиваются в размерах, но разве это имеет значение для сна? И (трусливый даже во сне) я стараюсь не смотреть себе под ноги; на поверхности монет то и дело всплывают сцены, похожие на барельефы. Я уже видел их в детстве, во время чайных бдений у миски с горячей водой. Так, боясь самого себя и зыбких детских воспоминаний, я оказываюсь на вершине. Вершина – небольшое плато – не что иное, как крышка от проклятой жестянки. Потоптавшись по розе ветров, я подхожу к желобу, который обнаруживаю на противоположной стороне: он, подобно трамплину, устремлен вниз. И упирается в маленькую запруду. Какая-то неведомая сила заставляет меня скатиться по нему. И со всего размаху плюхнуться в затянутую ряской и кувшинками воду. Кувшинками – так мне кажется поначалу. Лишь спустя несколько мгновений я понимаю, что никакие это не кувшинки.

Китайская роза – вот что это такое.

Чертов гибискус.

От него веет могильным холодом, куриным пометом, сле-

³ Перепелиный холм.

жавшейся шерстью, гниющей на солнце требухой; чем угодно, но только не невинной китайской розой. А то, что я обнаруживаю под лепестками... То, на что натыкаюсь, потому что не могу не наткнуться...

Это всего лишь сон, всего лишь сон, говорю я себе. Иначе откуда бы здесь взяться ножу, пропавшему вместе с Анук много лет назад?.. Ну да, рукоять, которая возвышается сейчас над ряской, – ее я узнал бы из тысяч других: сверчки и раковины, сверчки и раковины. Желание снова обрести нож пусть хотя бы и во сне, оказывается сильнее страха. Я берусь за рукоять, но сверчки и раковины даже не думают всплывать на поверхность: что-то явно мешает им. И, чтобы добраться до этого «что-то» и избавиться от него, я начинаю разрывать сеть из лепестков и тонких глянцевых листьев.

Это всего лишь сон, всего лишь сон, говорю я себе. Иначе откуда бы здесь взяться мертвому телу?.. Мертвое тело утопает в ряске, мертвое женское тело. Нож торчит в горле неизвестной мне женщины. Неизвестной – так мне кажется поначалу. Лишь спустя несколько мгновений я понимаю, что это – Лила. Жесткие прямые волосы, слегка приплюснутый нос, поднятые к вискам ленивые азиатские веки... Но укрепиться в мысли, что это действительно Лила, мне мешает движение воды. Совсем незаметное для глаза, оно неожиданно меняет знакомые черты: еще раз, еще, еще... Черт, это не Лила, этой девушки я не видел прежде, такое лицо не запоминается, оно вбивается в память острой иглой... Но это не Анук.

Слава богу, это не Анук, моя девочка.

Обессиленный, я слежу за током воды, а она раз за разом выдает мне новое лицо. Сколько их? Три, пять, семь? И когда успокоится вода? И кто будет следующим?.. Нервы мои не выдерживают, а в висках отбойными молотками стучит: это всего лишь сон, всего лишь сон. Проснись, Гай! Проснись – и кошмар закончится... И я просыпаюсь. Почти просыпаюсь. И уже у самой границы реальности, когда до спасительного утра рукой подать, вода бьет меня наотмашь последним откровением: Мари-Кристин.

Это всего лишь сон, всего лишь сон, говорю я себе. Ору я себе, впившись зубами в уголок подушки. Пошло все к черту, нужно попросить у Мари-Кристин снотворное, чтобы навсегда избавиться себя от подобных кошмаров.

Будь ты проклята, Анук, моя девочка!..

Утро не приносит облегчения, наоборот – закрепляет кошмар, делает его еще более правдоподобным. Поддавшись смутному чувству тревоги, я звоню Мари-Кристин: сначала домой (чтобы нарваться на автоответчик), затем – в офис (чтобы нарваться на секретаря). И только потом решаюсь набрать номер сотового. После третьего гудка она отзывается, я слышу ее низкий глубокий голос – и кладу трубку. Сейчас мне не хочется говорить с Мари-Кристин. Сейчас мне нечего сказать ей. Она перезванивает сама, спустя несколько минут: «Ты даже не представляешь себе, Ги, какой шикарной была поездка, жаль, что ты не смог всего этого увидеть... Кстати,

как ты себя чувствуешь?..»

Чувствую я себя отвратительно. Настолько отвратительно, что соглашаюсь пообедать с Мари-Кристин и выслушать восторженный монолог о Ле-Трепор, этом облепленном чешуей кладбище дизайнерских идей.

«В пять в «Ле Режанс». И не опаздывай, Ги».

Я выхожу из дому в четыре, с твердым намерением не опоздать, но вместо «Ле Режанс» оказываюсь на бютт о'Кайль. Я и сам не могу понять, на что мне сдался Перепелиный холм и каким ветром меня вообще занесло туда: я выхожу не на тех станциях метро, на каких следовало бы; иду по той стороне улиц, по которой никогда не ходил; как будто меня ведет неведомая мне сила. А шрам на затылке решил сыграть со мной в детскую игру «горячо-холодно».

Авеню Порт-Рояль – холодно, холодно.

Улица Бобилло – теплее, намного теплее.

Площадь Верлена – горячо.

Еще как горячо, почти припекает – иначе, чем низкое солнце в платанах сквера, – но припекает. Сгорая от предчувствия, я битый час наблюдаю за местными старикашками. Они играют в петанк; более бессмысленного занятия, чем катание металлических шаров, я не знаю. Старикашки все сплошь похожи на слепого на один глаз Автандила. Во всяком случае, я легко могу представить себе Автандила, играющего в петанк. Все остальное видится как в тумане.

Как в тумане я покидаю сквер и оказываюсь у «Chez Joe»,

рюмашка кальвадоса не помешает. Но через секунду я забываю и о кальвадосе, и о «петанке», и о стариках, и о Париже, и о Мари-Кристин, и о самом себе. За самым дальним столиком «Chez Joe», под боксерскими перчатками, свисающими с потолка, сидит Анук.

Анук, моя девочка.

Анук в компании одинокой чашки кофе – в это невозможно поверить. И все-таки – это она, ничуть не изменившаяся за те восемь лет, которые мы не виделись. Я готов поклясться, что на ней тот же темно-синий свитер под горло и та же длинная шерстяная юбка. И те же ботинки. И та же стрижка, Анук всегда справлялась с ней сама: просто собирала отросшие волосы в хвост и срезала под корень садовым секатором. Ее лицо все так же безмятежно, нет, оно еще более безмятежно, чем обычно. Оно еще более безмятежно, чем я его помнил: такие лица бывают только у святых. Или у сумасшедших.

А таких фиалковых глаз нет ни у кого.

– Я заказала тебе кофе, – говорит Анук.

И это первые слова, которые она говорит мне после восьми лет разлуки.

– Анук. – Я сажусь против нее, я бессильно падаю на стул против нее – и смотрю, смотрю. – Анук... Но откуда ты знала? Откуда ты знала?..

– А ты откуда? – улыбается Анук.

Нет, ботинки все-таки другие: высокие, почти новые, но

со сбитыми тупыми носами. Анук наверняка пинает ими что ни попадя: пустые сигаретные пачки, шары для петанка, мелкие камешки, конские каштаны, жестянки с лирохвостами...

– Анук... – Я не могу оторваться от ее лица: не постаревшего, не повзрослевшего. – Что ты делаешь здесь, в Париже, Анук?

– Ничего, – улыбается Анук.

– А что... Что ты делала все эти восемь лет?

– Ничего, – улыбается Анук. – Пей кофе.

– Да, конечно... Все думали, что ты умерла...

– Но ты-то ведь знал, что я не умерла?

– Да...

Я залпом, обжигая язык и нёбо, выпиваю кофе – но даже не чувствую ожога. Но чувствую взгляды немногочисленных посетителей «Chez Joe», они обращены на Анука. Кто бы сомневался, Анук всегда оказывается в центре внимания.

– Ты давно в Париже? – задаю я самый дурацкий вопрос из всех дурацких вопросов.

– Ты ведь знаешь, правда, Гай? – Она не забыла мое имя, надо же!

– Да. – Теперь уже я улыбаюсь, машинально потирая шрам на затылке. – Где ты остановилась?

– У тебя. То есть... Сегодня я хочу переночевать у тебя.

– Конечно. Черт, я рад! Ты даже себе представить не можешь, как я рад. Мне нужно многое рассказать тебе, Анук.

– Только не про свою бабу. – Анук засовывает большой

палец в рот, по старой детской привычке. – Наверняка какая-нибудь старая гримза...

– С чего ты взяла, Анук? – Такое пренебрежительное отношение к Мари-Кристин неожиданно задевает меня.

– Это же ясно как божий день. Это у тебя на физиономии написано.

Углубляться в тему моих взаимоотношений с Мари-Кристин у меня нет никакого желания. Анук вернулась, Анук не забыла мое имя, что может быть важнее?..

– Ты можешь жить у меня, – торопливо говорю я. – Ты можешь жить у меня сколько хочешь...

– Это лишнее. Я просто переночую.

– Как хочешь. – Ну почему я все время забываю, что приручить Анук невозможно?

– Заплати за кофе и пойдем.

Она не дожидается, пока я отвечу, пока я расплачусь, – она поднимается из-за столика и уходит. Я нагоняю ее лишь на улице. Идти рядом не получается, Анук не терпит никого рядом с собой, и поэтому я двигаюсь чуть позади, чуть впереди, чуть справа, чуть слева; все это похоже на движение спутника вокруг планеты. Что уж тут поделаешь, стоит Анук появиться, как все начинает вертеться вокруг нее. Я ловлю ее отражение в витринах, в стеклах проезжающих автобусов, в лицах людей: сама же Анук, как всегда, ускользает.

– Ее зовут Мари-Кристин, – сообщаю я затылку Анук. – Тебе неинтересно, как я жил все эти годы?

Дурацкий вопрос. Самый дурацкий из всех дурацких.

Моя квартира тоже кажется мне дурацкой: дурацкий набор дисков, дурацкие жалюзи на окнах, дурацкий плакат с выставки Ронни Бэрда на входной двери – Мари-Кристин считает его гением, новым Дали с уклоном в животноводческий урбанизм. Следующую коллекцию она собралась посвятить именно ему, представляю, как будет счастлив новый Дали.

Да, еще посудомоечная машина, которой я ни разу не пользовался, – она тоже выглядит дурацки.

Анук отправляется в ванную не снимая ботинок, а я остаюсь перед закрытой дверью.

– Если тебе нужна зубная щетка, на полке под зеркалом есть новая, – спохватившись, кричу я Анук.

Никакого ответа.

Пока Анук моется, я наматываю круги вокруг ее рюкзака, оставленного в прихожей. Самый обыкновенный рюкзак из дубленой кожи, интересно, что там внутри? Заглянуть в рюкзак Анук, конечно, не так интересно, как заглянуть в саму Анук, но все же, все же... С бьющимся сердцем я сажусь на пол перед рюкзаком и расстегиваю лямки.

«Ключ к герметической философии» – первое, на что я натыкаюсь. Все эти годы она таскала книгу с собой, иногда Анук бывает постоянна в привязанностях. Оказавшись в моих руках, книга открывается ровно посередине, на том самом месте, куда Анук когда-то сунула смятый цветок гибис-

куса.

Он и сейчас там, цветок. Не высохшая деталь гербария, как можно было бы предположить, нет. Цветок кажется сорванным совсем недавно, его тонкая плоть еще жива, – что ж, Анук и правда постоянна.

Книга тянет за собой нож, я не видел его восемь лет. И за эти восемь лет он тоже ничуть не изменился, во всяком случае – сверчки и раковины на месте. Я на секунду вспоминаю сегодняшней ночной кошмар, но только на секунду; нож выглядит вполне миролюбиво, он слишком стар и слишком мудр, чтобы помышлять о стройных горлышках красоток. Номером три идет видеокассета без обложки, надпись на ней торжественно провозглашает: «Диллинджер мертв».

Ломать голову над Диллинджером у меня нет никакого желания. Мертв и мертв, голубоглазый. Скорее всего – это название фильма, и слыхом о нем не слыхивал.

Дно рюкзака завалено мелочью. Монет несколько десятков, самых разных, но одинаково не имеющих отношения ни к Франции, ни (как я подозреваю) к Европе. Рисунок на некоторых совсем стерся, другие выглядят почти новыми – как ботинки Анук.

Книга, кассета, нож и грудa монет.

Ничего больше обнаружить не удастся: ни документов, ни проездных билетов, ни сотового, ни записной книжки, ни милых девичьих мелочей в виде помады, блеска для губ и водостойкой туши. Анук, как всегда, обманывает.

Она умеет водить за нос, Анук, моя девочка.

Чувствуя себя уязвленным, я прочесываю боковые карманы. Ага.

Куча билетов в кино с оторванными корешками, бумажка с каким-то номером телефона и пластиковая визитка. Одна-единственная, но какая! Ронни Бэрд, который висит у меня на входной двери. Удачливый павлин Ронни Бэрд, мазила-мистификатор, слывающий мизантропом и женоненавистником, интересно, где Анук ее раздобыла?.. Размышлять об этом нет времени – Анук вот-вот появится, лучше сунуть все обратно от греха подальше.

Так я и поступаю и отправляюсь на кухню заваривать чай. Чай носит весьма игривое название «Тысяча наложниц»; я покупаю его на вес в маленькой лавчонке у Северного вокзала; не бог весть что, но и сюрпризов никаких. Сюрприз поджидает меня, когда Анук воцаряется на кухне.

– Ну что, все обшарил? – весело интересуется она.

Отпираться бесполезно.

– Фильм хоть ничего? – так же весело парирую я. – «Диллинджер мертв», надо же! Никогда о таком не слышал.

– Понятия не имею. Я его тоже в глаза не видела. Если хочешь – возьми посмотреть. Может, и правда понравится...

На этом наш разговор заканчивается. Мы сидим в полной тишине и рассматриваем друг друга. Вернее – я пожираю глазами Анук. Ей до меня нет никакого дела. Первое впечатление не обмануло меня: Анук не изменилась. Или по-

что не изменилась. Ей двадцать четыре – столько же, сколько и мне, – но выглядит она на восемнадцать. Или на семнадцать, которым очень хочется поскорее вырасти.

– Расскажи о себе, – делаю я вторую попытку завязать разговор.

– Я же не прошу тебя рассказать о себе...

– Моя жизнь, наверное, была не такой интересной, Анук. – В моем исполнении эта фраза звучит как вызов, но Анук его не принимает.

Мне остается только сгорать от любви к потерянной и так и не найденной сестре. И тыкаться влажным лбом в ее молчание.

– Дед умер шесть лет назад, – пытаюсь я найти бреши в ее обороне.

– Правда? – равнодушно спрашивает Анук.

– А в школу попал фугас. Ничего от нее не осталось, только фундамент.

– Правда? – равнодушно спрашивает Анук.

– Там была война... Ты же знаешь...

– Война обязательно где-нибудь да идет. Что об этом думать...

– А помнишь, как мы сидели у бойни?

По лицу Анук пробегает тень или это мне только кажется? Нет, определенно – фиалковые глаза Анука темнеют, а губы слегка приоткрываются, распускаются, как цветок: это еще не брешь, но стена дала трещину. Сейчас нужно закрепить

успех, сунуть в трещину лезвие ножа, монету с дыркой посередине, обломок чайного листа... Да, лист, пожалуй, подойдет.

– А помнишь то лето, когда все время шел дождь? И мы сидели на чердаке... А жестянку помнишь?

– Что об этом вспоминать, – Анук все так же равнодушна. Никаких трещин, не то что лезвие ножа или чайный лист – волос не проскочит. Я ошибся. Кто ее знает, что у нее в голове... У Анук, моей девочки.

Если то же, что и в снах, которые просачиваются через щрам в моем затылке... Подумать об этом я не успеваю – из-за настойчивого звонка в дверь. Так настойчиво и требовательно может звонить только один человек – Мари-Кристин. Мари-Кристин, вот черт. Мари-Кристин, которую я самым скотским образом продинамил с обедом. Да что там, за те несколько часов, проведенных с сестрой, я даже и не вспомнил о ней.

Странно, но никаких угрызений совести я не чувствую. Более того, этот чертов звонок вызывает во мне волну ничем не обоснованной, почти детской ярости: сейчас мне хочется быть только с Анук. Молчащей, равнодушной, такой же далекой от меня, как дедов виноградник и пиниевая роща. Такой же смутной, как кровь, мерцающая в камнях у бойни.

С Анук – и ни с кем больше.

– Звонят. Ты разве не слышишь? – мягко спрашивает у меня Анук.

– Слышу. – Я даже не двигаюсь с места. – Пусть звонят.

– Ты никого не ждешь?

– Тебя. Я всегда жду только тебя. – Лишь произнеся это, я понимаю, что сказал правду.

– Какой пафос. – Анук запрокидывает голову и скалит диковатые влажные зубы. – Открой, Гай.

Анук играючи парализует мою волю, так было всегда. Вот и сейчас я тяжело поднимаюсь со стула и плетусь в прихожую. И также на автопилоте открываю дверь. Силуэт Мари-Кристин, нарисовавшийся в проеме, не вызывает у меня никаких эмоций. Как и поток сдержанных интеллигентных упреков.

– Ты не пришел на встречу. Я прождала тебя почти час. Что-нибудь произошло, Ги?

– Ничего.

– Ты мог хотя бы позвонить...

– Прости...

– Ты даже не предложишь мне войти? – Мари-Кристин недоуменно приподнимает бровь.

– Конечно, входи.

– У тебя гости? – бровь Мари-Кристин задирается еще выше.

– Нет... То есть...

Интересно, чувствует ли Мари-Кристин то же, что и я? Чувствует ли она, что с приходом Анук моя квартира неуловимо изменилась, предметы утратили первозданные смыслы

и очертания и в каждом из них появилось двойное дно?..

Как бы то ни было, Мари-Кристин, подстегиваемая любопытством и уязвленным самолюбием, направляется напрямиком на кухню – туда, где у стены, на полу, сидит Анук. Мне ничего не остается, как следовать за ней.

– Познакомься, Мари-Кристин, – лепечу я в надменную спину своей возлюбленной. – Это Анук, моя сестра.

Анук даже не находит нужным повернуть голову.

– Сестра? Ты никогда мне о ней не рассказывал...

Весь хот-кутюрный лоск сползает с Мари-Кристин, как старая краска со старого автомобиля; сползает, слезает слоями, отваливается клочьями. Теперь и она пожирает глазами Анук. Но совсем не так, как несколько лет назад пожирала глазами меня. Она вовсе не прикидывает, как выглядела бы Анук в шелковом шарфе или эскимосских сапогах. Она просто пытается с ходу разгадать тайну ускользающего лица Анук. Напрасный труд, я убил на это всю жизнь, но так ничего и не понял.

– Ты никогда о ней не рассказывал, Ги...

– Боюсь, он утаил не только это. – Анук наконец-то снисходит до улыбки.

– Я – Мари-Кристин Сават. Не знала, что у Ги такая... сестра...

– А я предполагала, что у Гая... Или как вы там его называете... что у Гая именно такая любовница.

– Да? – улыбается в ответ Мари-Кристин.

– Это не комплимент, – уточняет Анук, улыбаясь еще шире.

Вжав голову в плечи, я жду бури, цунами, пришествия тайфуна «Эндрю». Но ничего подобного не происходит. Анук всегда все сходит с рук, как я мог забыть об этом?

– Это не главная моя ипостась, поверьте... – Мари-Кристин все еще не может прогнать улыбку с лица. – «Сават и Мустаки», вы что-нибудь слышали об этой дизайнерской фирме?

– Не самое лестное. Можно не пересказывать?

– А в модельном бизнесе работали?

– А разве я похожа на модель? – Анук забрасывает ногу за ногу и смотрит на кончик своего ботинка. На Мари-Кристин она предпочитает не смотреть.

Все, сказанное ей, делает следующий вопрос почти бессмысленным, но Мари-Кристин все-таки задает его.

– Хотите быть лицом «Сават и Мустаки»?

– Лучше голой. – Анук даже не раздумывает. Ни секунды. – Лучше голой среди волков в заснеженном лесу накануне Рождества.

– Может быть, мой русский не слишком хорош? – Мари-Кристин беспомощно трясет головой, не отводя взгляда от Анука. – Может, вы не поняли вопроса?

– Почему не поняла? Мне просто не слишком нравится эта идея. Вот и все.

– Ги? – Мари-Кристин неподражаема во взрослой беспо-

мощности и детской решимости заполучить Анук любой ценой. – Поговори с ней, Ги...

– Но... – блею я овцой, зажатой между Анук и Мари-Кристин, между алтарем для жертвоприношений и секачом для рубки мяса.

– Предложение остается в силе. – Не так-то просто избавиться от наваждения, даже когда тебе за сорок. Даже когда ты можешь вытащить из мягкой фетровой шляпы все тайны полузабытого блюзмена Бадди Гая и мочки твоих ушей девственно чисты. – Предложение остается в силе, и мы можем подписать контракт в любое удобное для вас время. Речь идет об очень приличной сумме, поверьте.

Слова Мари-Кристин не производят никакого впечатления на мою сестру. Хотя и пытаются забраться в рукава ее старого свитера, просочиться под обветшалый ворот, ухватиться за край шерстяной юбки. Черта с два, Анук умеет держать оборону.

– Приличной сумме? Тогда придется бросить монету.

Анук вынимает из-за щеки монету (я готов поклясться, что это – та самая ярко-желтая монета с корабликом, безнадежно потерянная нами в детстве, на винограднике) и подбрасывает ее в воздух. Описав полукруг, монета падает в ладонь Анук.

– Ну как? – живо интересуется Мари-Кристин.

– Никак, – даже не взглянув на монету, Анук снова отправляет ее за щеку. – Предложение отклоняется.

– Но... – Мари-Кристин и не пытается скрыть раздражение. – Вы даже не посмотрели!

– Я всегда знаю, какой стороной она упадет...

Вопрос закрыт, но смириться с этим Мари-Кристин не хочет.

– Ты не проводишь меня, Ги? – бросает она, не двигаясь с места.

– Конечно.

Кухню мы покидаем минут через пятнадцать, когда Мари-Кристин все-таки удается отлепиться от Анук. В прихожей летают стрекозы и ленивая осенняя паутина; в прихожей валяются вишневые косточки, речная галька и битая первыми холодами айва. А на дурацком плакате Ронни Бэрда завис геккон: картинка детского мира Анук так выпукла, что мне на мгновение кажется – я сошел с ума.

– Ты ничего не замечаешь? – осторожно спрашиваю я у Мари-Кристин.

– Что я должна заметить? – Мари-Кристин в сердцах бьет ладонью по макушкам болиголов, выросшего у вешалки. – Только то, что твоя сестра... или кем там она тебе приходится... Она просто маленькая сучка.

– Зачем ты так...

– Дрянь. – Мари-Кристин все еще не может успокоиться. – Но до чего же она хороша! Я должна получить это лицо. Любой ценой. Уговори ее, Ги.

Уговорить Анук сделать то, чего она не хочет, – гиблое

дело. Но как объяснить это Мари-Кристин?

– Вряд ли она примет во внимание мои доводы, если уж не приняла твои...

– Расскажи мне о ней.

Рассказать об Анук невозможно. Так же невозможно, как объяснить возникновение стрекоз, айвы и болиголова в моей прихожей. Так же невозможно, как понять, почему неуловимо изменился дурацкий плакат Ронни Бэрда. Впрочем, теперь он вовсе не кажется дурацким. Вместо полуфотографической хрени (кровавый обрезаек луны и два енота в бейсболках, устроившихся на крыше небоскреба) на плакате красуется совсем другая картина. Картина стилизована под обложку старинной книги, и я могу поручиться, что это – не глуховато-серый «Ключ к герметической философии». Напротив: основной тон дышит пурпуром, по которому разбросаны цветы с широкими стрелчатыми лепестками – то ли ирисы, то ли водяные лилии. А сквозь лепестки проступает женское лицо. Нет, это не лицо Анук. В нем нет сходства и с лицами девушек из моего кошмара. Это лицо может принадлежать кому угодно, даже мужчине (если ему когда-нибудь придет в голову возомнить себя богом). Лицо изъедено ржавчиной, особенно заметной на скулах, и стянуто железными обручами. Широкие клепанные полосы проходят по лбу, щекам и подбородку: без этого каркаса, без этой клетки лицо наверняка распалось бы на тысячу лиц. Но оно не распадается, к тому же снизу его подпирают колья готического

шрифта. Надпись почти не читается, но то, что удастся разобрать... Я явственно вижу две первые буквы – А и R. Одну в середине – О. И предпоследнюю – D.

– Интересный все-таки художник этот Ронни Бэрд, – говорю я Мари-Кристин, не отрывая взгляда от плаката.

– Господи, ты о чем? – Мари-Кристин машинально поворачивает голову к двери.

– И картина интересная, – продолжаю я гнуть свое. – Ты видела ее на последней выставке?

– Какая картина?

– Та, что на плакате.

Теперь и Мари-Кристин – окруженная стрекозами Мари-Кристин – внимательно рассматривает плакат.

– Странно... Что-то я ее не помню. Гамма, как у Рембрандта, но по стилю скорее Ван Эйк... Странно, очень странно... И цветочный рисунок хорош...

– Цветочный?..

– Ну да... А до чего выразительно, Мариуччиа Манделли⁴ сдохла бы от зависти! Как только эта вещь прошла мимо меня? Я ведь хорошо знаю все работы Ронни...

Я слушаю Мари-Кристин затаив дыхание. Выходит, я все не сумасшедший и она видит то же, что и я. Пусть не все, но видит!

– Водяные лилии, правда? – уточняю я.

– Нет, скорее ирисы. – Мари-Кристин щурится. – Некруп-

⁴ Итальянский модельер.

ные ирисы, совсем юные... Никакого намека на разнузданную сексуальность, обычно ирисы всегда тащат за собой бесстыдство... А эти – девственны. Никогда не видела ничего подобного.

– По-моему, это все-таки водяные лилии...

– Ирисы, – продолжает настаивать на своем Мари-Кристин. – Ирисы, не спорь. И вообще, мы отвлеклись от темы. Анук – твоя младшая сестра?

Младшая! Анук умерла бы со смеху! Но рассказывать о нашем совместном пребывании в чреве шестнадцатилетней девчонки – вот так, походя, под рассеянный аккомпанемент водяных лилий... черт с ними, ирисов... на такой подвиг я не способен.

– Угу. Младшая...

– Ты врешь. – Мари-Кристин пристально смотрит на меня. – Ты врешь, как и всякий южанин. Она тебе не сестра. Впрочем, это твое личное дело. А я должна получить это лицо. Уговори ее, Гай.

– Я постараюсь. – Вот теперь я действительно вру. Как и всякий южанин. Мне просто хочется побыстрее избавиться от Мари-Кристин.

– Обещай ей что угодно. – Прежде чем взяться за ручку двери, Мари-Кристин целует меня. Холодными бесстрастными губами в холодную бесстрастную щеку: мы слишком увлечены Анук, чтобы тратить энергию друг на друга.

– «Что угодно» – это что?

– Это – что угодно. Деньги, карьеру, посещение Диснейленда, романтическое свидание с Михаэлем Шумахером. Уик-энд с Оззи Осборном. Или ночь с Томом Крузом... Что угодно, Гай.

Интересно, любит ли Анук Тома Круза? И подозревает ли вообще о существовании этого леденцового петуха на плохо оструганной голливудской палочке?.. Боюсь, что нет...

– Хорошо.

– И вот еще что. Пригласи ее завтра на ужин. Вдвоем нам удастся обработать ее быстрее.

Завтра.

В контексте Анук – это не более чем неудачная шутка. У меня было восемь лет, чтобы подумать об Анук, чтобы попытаться понять ее. Скорее всего, она и сама не знает, где окажется завтра.

– Хорошо, – почти рычу я. Мне надоело возиться с Мари-Кристин. – Приглашу. «Ле Режанс», как обычно?

– Пожалуй... В шесть. И постарайся привести ее, Ги...

С трудом выпихнув Мари-Кристин из квартиры и хлопнув дверь, я прислушиваюсь к шагам на лестнице. Полная тишина. Очевидно, моя железобетонная преуспевающая модельерша застряла между этажами. И устроилась на ступеньках, как девчонка: я даже вижу, как она подтягивает воображаемые гольфы и закусывает нижнюю губу. Ну да, Анук еще нужно переварить, и не всякий желудок с этим справится. Впрочем, Мари-Кристин больше не интересует меня.

Стрекоз в прихожей стало гораздо больше, а к болиголову у вешалки присоединились виноградные лозы, растущие прямо из стен. И, возвращаясь на кухню, я едва не наступаю ногой на черную саламандру. Еще одно свидетельство того, что Анук – подумать только, Анук! – обосновалась в моем доме.

Она по-прежнему сидит у стены и по-прежнему не проявляет ко мне никакого интереса.

– Поужинаем завтра с Мари-Кристин? – преувеличенно бодрым голосом говорю я. – Ты приглашена.

– Не думаю, что это хорошая идея...

– Почему же? Ужин тебя ни к чему не обяжет. И потом... «Sauvat & Moustaki» – преуспевающая фирма. Я бы на твоём месте...

Закончить фразу мне не удастся: Анук начинает хохотать.

– На моем месте? Хотела бы я посмотреть на тебя... на моем месте. – Хохот обрывается так же внезапно, как и начался. – Ты бы и суток не протянул. Ладно, тема закрыта.

– Но почему...

– Я же сказала – тема закрыта. Хватит с нас того, что ты угнезвился там в качестве плечиков для пиджака. И подтяжек для брюк. Ты занимаешься не тем, чем должен бы заниматься, Гай.

Это совсем не новость: большинство людей занимаются не тем, чем должны бы, и чувствуют себя прекрасно. Я – не исключение. Вернее, я не был им до сегодняшнего дня.

– Интересно, и чем же я, по-твоему, должен заниматься?

– Это твоя жизнь. И я в нее не лезу. Сам решай.

Легко сказать – решай. Ничего особенного решать мне не хочется, напротив, мне хочется смотреть на Анук. При этом странное ощущение не покидает меня: Анук оказалась точно такой же, какой я представлял ее себе, – и совсем другой. Раньше я был почти уверен, что Анук сопровождает целая свора запахов – самых экзотических; теперь же я понял, что сама Анук и есть запах. Праматерь всех запахов, которые существуют в природе, их основа.

– Мне снятся твои сны, Анук, – шепотом говорю я.

– С чего ты взял, что мои? – Анук вовсе не выглядит удивленной.

– Чьи же еще?

– Ну да, бедный мой сиамский братец... Ничего оригинального ты сам придумать не способен.

– Это не очень хорошие сны, Анук. – Я пропускаю мимо ушей ее последнее, обидное для меня замечание.

– Правда? И что же в них нехорошего?

– Слишком много крови, Анук. Слишком много, вот что я скажу тебе...

– Да брось ты. – Анук безмятежна. Гораздо более безмятежна, чем когда-либо. – В темноте чего только не померещится... В темноте можно принять за кровь все что угодно...

– На что это ты намекаешь?

– Ни на что. Каждый видит ровно то, что хочет увидеть.

Всегда.

Разговаривать с Анук бесполезно. Во всяком случае, на эту тему. На все другие – тоже. Анук вообще не разговаривает, она снисходит до разговора, – Анук, моя девочка.

– Тогда объясни мне хотя бы, что они значат? – Может быть, и теперь она снизойдет?

Ни черта не снизойдет, нужно знать Анук.

– Понятия не имею. Может, это твое прошлое. А может, чье-то будущее. Другие соображения есть?

– Я вообще стараюсь об этом не думать. Я ненавижу кошмары, Анук...

– Как будто кто-то в них души не чает. – Анук откровенно издевается надо мной: так же, как когда-то в детстве. – Не обращай внимания, Гай.

На лицо Анук падает тень, и я не сразу понимаю, что это тень от птичьих хвостов, причудливо изогнутых, лживо раздвоенных, путающих право и лево.

Лирохвосты, ну конечно же.

Затертые временем пленники чайной жестянки. Такие же пленники, как и я сам.

– Ты помнишь тот запах, Анук? У бойни. Мы ни разу не говорили об этом, но тогда я все-таки нашел его. Гибискус, да? Китайская роза...

– Суданская мальва, – неожиданно поправляет меня Анук. – Гибискус.

Лучше не спорить с ней, какая разница – Судан или Китай

– Восток одинаково вероломен.

– Неважно. Пусть будет суданская мальва...

– Номер один в твоём талмуде. Я права?

– Каком талмуде?

– Том самом, Гай. Который ты никому не показываешь.

Вот черт, Анук знает о существовании моей тетради!

Анук, которая даже и в комнату не входила, так и просидела на кухне в своих ботинках! Анук, которой всегда было наплевать на чьи-либо тайны, а уж на мои – тем более.

– Откуда ты знаешь, Анук?..

Она могла бы сказать: «Ты мой брат, Гай», – и это бы все объяснило. И утешило бы меня. Но я точно знаю, она никогда не скажет «ты мой брат». Расплывчатое «сиамский братец» – это да. Это единственное, чего можно от нее дожидаться. И – прежде, чем она не говорит «Ты мой брат, Гай» – я торопливо добавляю:

– Это неважно. Важно, что однажды я почувствовал его еще раз, этот чертов запах. Так же остро, как тогда. Он исходил от девушки, которую потом убили.

– Твоей девушки?

– Нет. Просто девушки, я даже толком ее не знал.

– Зачем же тогда переживать? – резонно спрашивает Анук. – Кого-нибудь когда-нибудь да убьют. Такое иногда случается, представь себе...

– Ты не понимаешь. Ее убили, перерезали горло, а за несколько часов до этого я видел ее и чувствовал этот запах.

Стоит мне только произнести последнюю фразу, как стена, у которой сидит Анук, самым странным образом меняется: я больше не вижу умиротворяющих обоев с маргаритками, прозаичного выключателя и не менее прозаичного календаря с видами Прованса. Теперь за спиной Анук – грубо отесанные и так же грубо подогнанные друг к другу серые камни. И сквозь трещины в камнях вспухает и сочится кровь. Стена пульсирует, то приближаясь, то отдаляясь от меня, и лишь Анук остается неизменно далекой. Я могу коснуться ее колена, просто вытянув руку, но это не меняет дела. Анук далека от меня – далека, как никогда.

– Это старое открытие, Гай. Старое, которое ты принял за новое. Конечно, Нобелевскую премию за него не дадут, но...

Серые камни готовы выскочить из своих пазов, кровь готова залить всю кухню, а сердце мое готово вот-вот взорваться. О, это будет мощный взрыв, он похоронит под своими обломками и меня, и мою дурацкую квартиру, и город, и страну, и весь мир; уцелеют только алеуты с их резьбой по кости и индейцы мареньо с их верой в духов соленых лагун.

И Анук.

Она всегда выходит сухой из воды – Анук, моя девочка.

– Что значит «но», Анук?

– Может, тебе стоит завести другую тетрадь, бедный мой сиамский братец?

– Зачем? У меня и в старой есть еще несколько свободных страниц.

– Одна. Одна страница. – Анук проявляет поразительную осведомленность. – Но, боюсь, ты никогда ее не заполнишь. Ты слишком труслив для этого. Ты всегда был трусливым.

– Анук!..

– Ладно, забудь. В конце концов, твоя жизнь – это только твоя жизнь.

– Ты долго пробудешь в Париже?

С тем же успехом я мог бы спросить о ценах на нефть или об индексе Доу-Джонса, или об урожае маиса в мексиканском штате Юкатан – ответ был бы примерно одинаков:

– Разве это имеет значение?

– Нет, но все-таки... Мне не хотелось бы потерять тебя снова, Анук. Ты ведь моя сестра... Единственный родной человек...

– То, что мы перекапывались девять месяцев в чьем-то животе, еще не повод для близких отношений, Гай. – Анук сует в рот большой палец. – Уволь меня от этих сантиментов.

– А что – повод для близких отношений? – настаиваю я.

– Я вообще против близких отношений, ты же знаешь. Себе дороже заводить их.

– Ну хоть парень у тебя есть, сестренка?

Голос мой звучит вполне невинно, для полноты картины не хватает только потрепать Анук по волосам. Но и смена тактики не приносит мне никакого успеха.

– Парни есть у всех. Даже у этой твоей... Старой шлюхи... Николь-Бернадетт, так, кажется?..

– Мари-Кристин, – терпеливо поправляю я. – Ее зовут Мари-Кристин. И мне бы не хотелось, чтобы ты называла ее шлюхой.

– Иначе что? – Анук откровенно издевается надо мной. – Ты отлучишь меня от дома?

– Я прошу тебя, Анук... Она удивительная. И ее предложение о работе – это серьезное предложение серьезного и довольно влиятельного человека. Тебе нужна работа?

– Разве я похожа на человека, которому что-то нужно? Что-то кроме того, что у него уже есть?

Хороший вопрос. Я вспоминаю содержимое рюкзака Анук: нож, книга, монеты, ворох билетов в кино. Я вспоминаю прихожую, чудесно преображенную появлением Анук. А серые, замешанные на крови, камни и сейчас передо мной. Наверняка у Анук существуют и другие ландшафты, просто она не находит нужным показывать их мне. Наверняка у Анук существуют и другие пророчества, просто она не находит нужным делиться ими со мной. То, что происходит сейчас в моей маленькой квартирке на рю де ла Гранж, можно было бы назвать галлюцинациями, бредом воспаленного сознания, продолжением ночных кошмаров. Можно было бы – если бы не Анук.

С Анук все выглядит естественным, более того – единственно возможным.

Интересно, какие еще сюрпризы она мне преподнесет?.. Впрочем, об одном из них я знаю почти наверняка: зав-

тра утром Анук обязательно попытается ускользнуть. Хлопнуть дверью за секунду до того, как я открою глаза. Так было всегда, и вряд ли что-нибудь изменилось за прошедшие восемь лет. Изменился только я, бедный сиамский братец: я вытянулся, раздался в плечах, оброс мускулатурой. И если я решу перегородить дверной проем, сдвинуть меня с места будет не так-то просто. А именно это я и намерен сделать: помешать Анук уйти.

Чтобы помешать Анук уйти, я надираюсь кофе, выкуриваю две пачки сигарет и даже забиваю косячок с первостатейной анашой. Но и эти меры кажутся мне недостаточными. Под банальным предлогом «сорри, сестренка, мне нужно отлить», я выскакиваю в прихожую и, распугав стрекоз и примкнувших к ним черных саламандр, запираю дверь на все замки. И прячу ключи в задний карман джинсов.

Спустя пару окутанных молчанием часов Анук отправляется спать. Мне тотчас же приходит в голову светлая мысль засунуть куда подальше ее ботинки. Но Анук вовсе не намерена с ними расставаться, ни с одной своей вещью она не расстанется просто так. Мне остается только завидовать этим черным тупоносым тварям, и распустившимся рукавам свитера, и подолу шерстяной юбки, не говоря уже о монетах в рюкзаке: они знают об Анук гораздо больше, чем я могу себе нафантазировать.

Погасив свет в комнате («Спокойной ночи, сестренка»), я устраиваюсь у двери в коридоре – сторожить Анук. Я пыта-

уюсь убедить себя, что делаю это для Мари-Кристин, которой так важно заполучить лицо моей сестры. Но Мари-Кристин – всего лишь отговорка, жалкий предлог. Я просто не хочу терять Анук, только и всего.

«Не спать, Гай», – говорю я себе.

И – засыпаю под шелест болиголова, виноградной лозы и стрекозиных крыльев.

Кошмары мне не снятся. Совсем напротив, сон мой наполнен моими же детскими сокровищами из моих же детских карманов: кусок фольги, высохшая тыковка, два стеклянных шарика; металлический волчок, бывший когда-то предсердием часов... Детскими сокровищами и мягким светом, который так свойственен нашим с Анук родным местам. Я и думать о них позабыл; подозреваю, что и Анук никогда о них не вспоминала. Подозреваю я и другое – Анук лжет мне этим своим сном и пытается усыпить мою бдительность. И подсовывает мне мягкий свет в обертке из фольги: а ну как я сожру его и успокоюсь?

Так оно и происходит.

Я просыпаюсь именно тогда, когда и должен был проснуться: стоит только хлопнуть входной двери. На то, чтобы восстановить события прошедшего вечера, уходит несколько секунд, после чего я вскакиваю на ноги с громким криком:

– Анук!..

Пустое, ловить больше нечего, случилось то, что и должно

было случиться: Анук ушла. Хотя ключи по-прежнему лежат в заднем кармане джинсов, — Анук ушла.

Что уж тут поделаешь, она умеет подобрать ключи ко всем замкам, она и есть ключ — Анук, моя девочка.

Ничто больше не напоминает об Анук: обои с маргаритками и календарь с видами Прованса снова на месте, а на входной двери по-прежнему маячат роннибэрдовские еноты в бейсболках. И никаких стрекоз, и никаких саламандр, и никакого болиголова. Я почти готов поверить в то, что встреча с Анук — плод моего воображения, но... Есть еще Мари-Кристин, и есть вчерашний разговор с ней.

И есть Диллинджер.

Анук все-таки оставила кассету, я нахожу Диллинджера в изголовье постели, на которой она спала (странно, но постель кажется нетронутой). Оставив мертвого Диллинджера на сладкое, я натягиваю легкую куртку и выскакиваю из дома. Идти по следам Анук — как давно я этого не делал!..

На ближайшей автобусной остановке я обнаруживаю монету из рюкзака Анук (кто еще мог оставить здесь этот латунный восьмигранник с иероглифами?). Дождавшись автобуса и даже не взглянув на его номер, я устраиваюсь в салоне, рядом с огромным негром в гавайской рубашке навывпуск и кожаной жилетке с... о, черт!.. меховым подбоем. От негра напропалую тащит мускатом, фастфудом, гашишем и дешевым гостиничным сексом. Должно быть, именно так выглядел полузабытый блюзмен Бадди Гай, даже помятая фетро-

вая шляпа имеется.

Негр вываливается из автобуса у Северного вокзала, я сле-
дую за ним на расстоянии гитарного грифа. Никакой цели я
не преследую, но негр, очевидно, имеет на этот счет свои со-
ображения. Пройдя квартал, он резко оборачивается и хва-
тает меня за лацкан куртки усиженной копеечными перстня-
ми лапой:

– Какого черта?!

Я молчу. Действительно, какого черта?

– Какого черта ты ошиваешься у меня за спиной, говнюк?

– Вообще-то, мне в метро, – полузадушенным голосом го-
ворю я. – А вам?

– Вообще-то, лучше тебе перейти на другую сторону ули-
цы. А то как бы промеж глаз не схлопотать. Или того хуже.
Ты все понял?

Я молчу. Пока эбонитовый самец картинно угрожал мне,
что-то изменилось. От него больше не прет мускатом, гаши-
шем и фастфудом. То есть все эти запахи, въевшиеся в ниг-
герову печень, сохранились, но я больше их не чувствую. Я
чувствую совсем другое – нежное, тонкое, едва уловимое.
Запах кажется знакомым; наверняка он попадался мне вкупе
с другими запахами, но в чистом виде... В чистом виде он
может свести с ума кого угодно. В чистом виде он больше
приличествует юной девственнице с легкими, как перья, гу-
бами, чем завшивленному толстомордому ниггеру, которому
даже помыться недосуг. Расстаться с этим запахом не пред-

ставляется возможным, и я все пялюсь на фетровую шляпу, каждую секунду рискуя получить «промеж глаз».

– Вижу не понял, – цедит негр, прикидывая, как бы припечатать меня половчее.

Запах, еще мгновение назад едва уловимый, становится резче. Нечто подобное происходило на питерской вечеринке четыре года назад – тогда я в последний раз видел брюнеточку Лилу. Нет, это не гибискус, это что-то другое, но такое же самодостаточное. Ниггер неважен, как неважна была Лиля, – они просто служат сосудом, флаконом для столь чарующего запаха, только и всего.

– Говорят, у тебя можно разжиться дозой? – неожиданно даже для самого себя спрашиваю я.

Присвистнув от удивления, владелец фетровой шляпы ослабляет хватку и некоторое время молча перекатывает в уголке рта огрызок вонючей сигары.

– Чего?

– Говорят, у тебя можно разжиться дозой. – Я терпелив.

– И кто же это так разговорился?

– Один знакомый парень. Ты должен знать...

Зачарованный запахом, я становлюсь проницательным, – как змеи, которые плодились у нас в саду в дождливое лето. Наверняка мой негр проживает в одной из этнических клоак у Золотой Капли, там полно мелкотравчатых героиновых дилеров. Таких вот африканонос с дутыми побрякушками на пальцах и шее; и почему негры так любят все блестящее – от

колец до однолезвийного ножа «survival»?.. Наверняка мой негр держит в приятелях кучу отбросов, кожа которых имеет разницу лишь в оттенках, – от кофе с молоком до темно-лилового. И почему бы среди них не затесаться какому-нибудь сенегальскому или эфиопскому поганцу с откляченной задницей и шрамом на щеке? Да, шрам на щеке подойдет...

– Мало ли кого я знаю...

– Черт, не помню его настоящего имени. Слишком сложно... У него еще шрам на щеке.

– Шрам на щеке? – Ниггер смягчается, вынимает сигару из рта и сует ее в карман рубахи. – Тома́?

Я попал. Попал в яблочко, вдохновленный запахом, хотя ничего труднопроизносимого в имени «Тома́» нет. Думать об этом мне не хочется, главное – я попал!

– Именно. Тома. Именно.

– Это меняет дело, дружок, – зубы ниггера обнажаются в дружелюбной улыбке. – Вот только я сейчас пустой. Уж извини.

– Жаль, – выдавливаю из себя я.

Мне действительно жаль: на нет и суда нет, и через пару минут приятель Тома отчалит, унося с собой магический запах.

– Дело поправимое, дружок, – зубы шелкают уже у самого моего уха. – Если уж так тебе надо... Так приспичило... Приходи сегодня вечером...

Он упоминает улицу, название которой ни о чем не гово-

рит мне. И заведение, название которого говорит еще меньше.

– И кого спросить? – моя улыбка еще дружелюбнее, чем у ниггера. И еще нетерпеливей.

– И спрашивать не придется. Так что часам к девяти подваливай.

Бадди Гай исчезает в людском водовороте со свойственной только неграм расслабленной грацией, и некоторое время я так же расслабленно наблюдаю за всплывающим то тут, то там пятном гавайской рубахи. Запах держится дольше – он осел у меня на волосах, щекочет ноздри и холодит шрам на затылке. Для того чтобы разложить его на компоненты, мне нужно чуть больше времени, чуть больше вдохновения и чуть больше сосредоточенности, ведь голова моя по-прежнему забита Анук. Я все еще не теряю надежды найти ее.

Анук находится на станции «Gare du Nord» – именно там я вижу плакат с задравшимся краем, он извещает об открытии выставки прикладного искусства династии Цин. Выставка, если верить датам, благополучно почилла еще в прошлом декабре, но это не имеет никакого значения. На плакате изображен тот самый восьмигранник с иероглифами, который я всего лишь полчаса назад подобрал на остановке. Обнадеженный этим, я сажусь в состав, идущий к центру: я умею искать Анук, я вовсе не забыл, как это делается. Никаких лишних телодвижений, случится то, что должно случиться, – такова тактика самой Анук, ее я и должен придер-

живаться. Ее я и придерживаюсь.

И в самом скором времени пожинаю плоды.

Точно такой же плакат, правда, находящийся в более плачевном состоянии, обнаруживается, когда я выпадаю из вагона в Сорбонне. Не очень-то я люблю этот район, да и что здесь делать Анук, которая и в школе-то не училась?..

Ответ я нахожу в маленьком букинистическом, которыми напичканы улочки, прилегающие к Сорбонне. Ничего особенного в этом магазинчике нет, вот только небольшая афишка на доске объявлений... Это всего лишь перечень кинофильмов, идущих в этой декаде во Французской Синематеке. Третьим в перечне значится фильм «Диллинджер мертв». Несколько минут я как зачарованный пялюсь в название.

«Диллинджер мертв» – «Dillinger E'Morto», а фильм-то, оказывается, снят италяшкой! Марко Феррери, я и понятия о нем не имел. Год выпуска и вовсе повергает меня в уныние: замшелый 1968-й!..

Получив скудную информацию о кассете, оставленной Анук, я готов покинуть магазинчик... Черта с два, ни хрена я не готов! Моментально возбудившийся шрам на затылке нашептывает мне, что это и есть конечная точка пути. По крайней мере, на сегодняшний день.

Плохо соображая, я обшариваю глазами полки, забитые Сартром, Миллером и Гертрудой Стайн; ничего, что могло бы тронуть сердце Анук и мое собственное сердце. Разве что

продавщица, будь она моложе лет на тридцать пять... Такая вполне могла бы увлечь трех парней из десятка. Сильно сдавшая богинька поздних шестидесятых, одна из поколения йе-йе – наверняка крутила жопой у смехотворных баррикад шестьдесят восьмого. Наверняка на ней и сейчас юбка солнце-клеш, замаскированная прилавком, наверняка. И узкие солнцезащитные очки в потертой сумочке. А шиньон «Бабетта» хорошо просматривается и так.

– Вы что-то ищете, молодой человек? – интимным голосом спрашивает у меня Бабетта. Наверняка тем же голосом она предлагала сделать минет кому-нибудь из заигравшихся в Че Гевару студентиков, наверняка.

– Ничего особенного... – договорить я не успеваю.

Под рукой у Бабетты покоится книга. Ее обложку я уже видел – вчера вечером, на плакате Ронни Бэрда, в собственной прихожей. Тот же пурпурный фон, украшенный то ли ирисами, то ли водяными лилиями; то же изъеденное ржавчиной и стянутое железными обручами лицо. И те же буквы: две первые – А и R; одна в середине – О. И предпоследняя – D.

– Раритет? – вкрадчиво нашептываю я Бабетте, улыбаясь самой лучезарной улыбкой, на которую только способен.

– Еще бы, – утвердительно кивает головой отставная интеллектуалка. Я явно в ее вкусе, хотя на мне и нет солнцезащитных очков.

– Вы позволите взглянуть?

– Ну... если осторожно...

Через секунду книга оказывается в моих руках. Формат чуть больше обычного книжного, да и весит она прилично. Похоже, это действительно раритет. Во всяком случае, он восходит к тем временам, когда книги, предоставленные сами себе, были абсолютно самодостаточными. Надменная вещичка, ничего не скажешь. И чем-то неуловимо похожая на Анук. Дрожа от нетерпения, я переворачиваю обложку и упираюсь взглядом в готический шрифт на титульной странице. Теперь он просматривается полностью.

«ARS MORIENDI».

Черт возьми, «Ars Moriendi»! Черт возьми... Запоздалый привет от лирохвостов и чая из жестянки. Буквы плывут у меня перед глазами, покачиваются и переливаются всеми цветами радуги – как тогда, в детстве. Не хватает только запаха. Тисненая готика не пахнет ничем, кроме пыли и ветоши. И все же, все же...

Я все же настиг тебя, «Ars Moriendi»! Плевать на то, что это не одно слово (как я думал всю жизнь), а два. Плевать на то, что отсутствует запах, так поразивший меня когда-то. Плевать даже на то, что, если бы не Анук, я никогда бы не узнал о существовании этой книги. Ведь именно Анук перебросила мне мостик из прошлого в будущее: Анук, путающая добро и зло, как путают право и лево.

Кстати, на крепость моста мне тоже наплевать.

Я знаю лишь одно – с появлением «Ars Moriendi» жизнь

моя изменится, она уже никогда не будет прежней. Может быть, она обретет совсем новый смысл. Может быть, Анук не так уж неправа.

– Продается? – севшим голосом спрашиваю я у Бабетты.

Ну, конечно, продается. Иначе лежать бы раритету не в скромном букинистическом, а в отделе редких рукописей той же Сорбонны. Вопрос состоит совсем в другом: сколько вытянет книга. Если ее цена сопоставима с ценой подержанного «Пежо» – можно считать, что «Ars Moriendi» уже у меня в кармане. А если речь идет о новеньком «Порше»? Подобная перспектива пугает меня, но лишь на мгновение. В конце концов, имеет смысл напрямь Мари-Кристин, мы все-таки любовники, и...

– Продавалась. – Бабетта аккуратно вынимает книгу у меня из рук.

– То есть?

– Уже продана.

Я ожидал чего угодно, только не этого.

– То есть как это – «уже продана»?

– Продана. Вернее – отложена. За ней должны прийти. Через час. – Бабетта бросает взгляд на часы, висящие на противоположной стене. – Уже через сорок пять минут...

Твою мать!.. Будь проклят негр в гавайской рубаше, отнявший у меня кучу времени. Будь проклят я сам, увязавшийся за тенью Бадди Гая. Вряд ли наша с ним встреча входила в планы Анук – с ее стороны все было разыграно как по

нотам. Это я, как всегда, слепил все через задницу, бедный сиамский братец.

– И ничего нельзя сделать? – наивно вопрошаю я.

– Боюсь, что нет, молодой человек. – Бабетта искренне сочувствует мне, хотя на мне и нет солнцезащитных очков. – Но у нас есть другие издания. Не менее интересные. Вот, к примеру, «Имитация Иисуса Христа» отца Дассана. Или «Магическая книга папы Гонориуса». Выпущена лет на семьдесят раньше...

В гробу я видел и папу Гонориуса, и его магическую книгу.

– Вы знаете, как это переводится? – задаю я совсем уж бесполезный вопрос.

– Что именно?

– Вот это. «Ars Moriendi».

Давай, Бабетта, давай, девочка, учили же тебя чему-нибудь в Сорбонне в шестьдесят восьмом!

– Это латынь, – говорит мне она после продолжительной, почти академической паузы. – И переводится довольно забавно. «Ars Moriendi» – Искусство умирания...

Гибискус

– ...Когда вы в последний раз видели мадам Сават?

Черт возьми, как приятно снова заговорить по-французски! И как давно я этого не делал. Хотя приходится признать, что в этом обшарпанном кабинете с двумя казенными столами, крашенным охрой сейфом и грудой колченогих стульев французский звучит диковато. А если прибавить сюда бу-мазейные занавески, в которые непременно хочется высморкаться...

– Я встречал ее в аэропорту. Я уже давал показания. Они должны быть в деле.

– Они еще не переведены.

– Да, я понимаю.

– Так что давайте с самого начала, мсье Кутарба́. Итак...

– Это было около двух недель назад. У меня плохая память на даты.

Парню, который сидит сейчас напротив меня, не больше тридцати. Полицейская ищейка, приписанная к одному из парижских комиссариатов. С довольно задиристой кличкой Дидье Бланшар. Это наша первая встреча, хотя я был предупрежден о ней заранее. Собственно говоря, я предполагал такое развитие событий – и французский десант в Питер тоже предполагал. Хотя и не такой худосочный. Парень явно не во вкусе Мари-Кристин.

Покойной Мари-Кристин; интересно, почему я думаю о ней так отстраненно? Или это защитная реакция, ведь то, что случилось с ней, – чудовищно. А тело, которое я видел в морге, – изуродованное почти до неузнаваемости, – неужели оно действительно принадлежало Мари-Кристин? Моей первой женщине, которой я обязан всем...

– Я говорю о самом начале, мсье Кутарба.

– В каком смысле? Я не понимаю вас.

– Бросьте. Прекрасно понимаете. Расскажите мне о ваших взаимоотношениях с покойной.

– Что именно вас интересует?

– Вы ведь были... э-э... близки, не так ли? – голос ищейки съезжает до почтительного шепота.

Ого, явный признак того, что бесхитростная псина к своим тридцати не утратила почтения к вечным ценностям типа постели. И не пользуется услугами шлюх-осведомительниц. И вот уже несколько лет исправно дарит валентинки одной и той же девице. К примеру, широкоскулой простушке официантке. Или секретарше туристической фирмы.

– Не думаю, что это прольет свет на существо дела. Но если вам так уж интересно... Мы были... как вы выразились... близки какое-то время. Довольно продолжительное. Правда, последние несколько лет нас связывают только деловые отношения.

– Несколько – это сколько?

Больше всего мне хочется съездить кулаком по постной

физиономии малыша Дидье. Но физиономия надежно защищена полицейской ксивой. К тому же нет никакой гарантии, что Бланшар не даст сдачи. От таких шавок всего можно ожидать.

– Около трех лет. К чему вам все эти подробности?

– Стало быть, остался только совместный бизнес? – малыш Дидье оставляет мой вопрос без внимания.

– Ну, почему. Я всегда прекрасно относился к Мари-Кристин. Мы расстались, но вполне цивилизованно. Хорошие друзья... Да, именно так. Хорошие друзья.

Три года назад Мари-Кристин сама ушла от меня. «Ушла» – не самое подходящее слово, ведь мы никогда не жили одним домом. Она просто не захотела больше спать со мной – без всяких видимых на то причин. Вернее, о причинах я догадывался, но озвучить их мне бы и в голову не пришло. Уж слишком нелепыми они казались на первый взгляд.

– Вы были третьим лицом в фирме «Сават и Мустаки»...

– Почему был? Я и сейчас там работаю. Но вряд ли можно назвать меня третьим лицом. Я занимаюсь парфюмерным имиджем компании и в организационные вопросы никогда не влезал. Это не моя прерогатива.

Дидье Бланшар с готовностью скалит растущие вкривь и вкось зубы.

– Насколько я успел ознакомиться с положением дел в компании... Именно продажа духов была в последнее время основной статьей дохода в «Сават и Мустаки».

– Вы неплохо информированы, – я откидываюсь на стуле и дружелюбно подмигиваю полицейскому. – Мы выпустили несколько хорошо продаваемых ароматов.

– Настолько хорошо, – теперь уже липучка-Дидье подмигивает мне. – Настолько хорошо продаваемых, что модный дом «Сават и Мустаки» вполне мог трансформироваться в дом парфюмерный. А уж здесь именно вы правили бал, мсье Кутарба.

Спорить с Бланшаром у меня нет никакого желания. Я в упор разглядываю нижнюю челюсть полицейского – слишком тяжелую, слишком выразительную для такого малопримечательного лица. Определить происхождение краденной челюсти не представляется возможным: то ли мамочка Бланшара согрешила с бультерьером, то ли само почтенное семейство ведет свой род от тарантулов. Помесь паука и собаки – самый худший подвид полицейских. И именно с этим подвидом я и имею сейчас дело.

– В последнее время вы не очень-то ладили с мадам Сават...

– Чушь.

– Во всяком случае, так утверждает секретарь покойной – мадемуазель Оффрей.

Только этого не хватало. Николь – бледная, лишенная всякого темперамента копия Твигги⁵, завсегдатай порносайтов «Мегаяйца» и «Парни в униформе». Я всегда хорошо отно-

⁵ Одна из самых популярных моделей в 60-е.

сился к Николь – до того момента, как она призналась мне в любви. Поймав у мужского туалета в главном офисе «Сават и Мустаки». Я был не первым, на кого она положила глаз. До этого лобовой атаке подвергались электрик, пожарник и разносчик пиццы (попадающие в категорию «Парни в униформе»). А также олигофрен-уборщик Ю-Ю, счастливый обладатель мегаяиц. Каким образом в этот список попал я, так и осталось загадкой: очевидно, Николь снесла в «избранное» очередной порносайт, что-то типа «Подрочи на Ив-Сен-Лорана»...

– Мадемуазель Оффрей – дура. К тому же безответно в меня влюбленная. На вашем месте я бы не стал доверять подобным показаниям.

– Мы располагаем не только ее показаниями, – в голосе Бланшара звучит мягкая укоризна. – По меньшей мере еще трое свидетелей утверждают то же самое.

Электрик, пожарник и разносчик пиццы, не иначе.

– Вот как? И что же они утверждают? Что я натачивал нож и прочищал базуку, чтобы избавиться от мадам Сават?

– Не передергивайте, мсье Кутарба. Вы ведь хотели уйти из «Сават и Мустаки», не правда ли?

– Это не совсем так...

– Вы хотели организовать свою собственную компанию. Так будет точнее?

– Я хотел быть самостоятельным. И Мари-Кристин... Мадам Сават была не в восторге от этой идеи. Не буду отрицать.

– Почему?

– Вы же сами сказали, Бланшар... «Сават и Мустаки» в последнее время заняли лидирующие позиции на парфюмерном рынке. И – не сочтите меня нескромным – в основном благодаря моим усилиям. Я просто вырос из рамок фирмы, понимаете? Вы ведь тоже вырастали из своих штанов, даже самых любимых...

Упоминание о штанах приводит малыша Дидье не в самое лучшее расположение духа. Я идиот, мог бы и сам догадаться: рост – большая мозоль Бланшара, на которую лучше не наступать. В нем от силы метр шестьдесят, – даже учитывая наборные каблуки и ортопедические стельки. И вполне вероятно, что любимые штаны волочатся за ним из отрочества. Неказистого прыщавого отрочества по прозвищу «Шпингалет» или того хуже.

– Значит, мадам Сават не хотела, чтобы вы уходили?

– Дураку понятно.

– Неужели это было такой уж неразрешимой проблемой?

– Легко. Легко разрешимой, – я надолго замолкаю. Странно, но воспоминания о муторной, долгоиграющей склоке с Мари-Кристин по-прежнему причиняют мне боль. – Я мог бы взять кредит, и мне его давали... Но... Вы понимаете... Существовали этические соображения.

– Какого плана?

Бланшар-Бланшар, тебе ли не знать о них – с твоими вечными ценностями недомерка?

– Мари-Кристин я был обязан всем. Всем, вы понимаете? Я был почти мальчишкой, когда она вывезла меня в Париж. И я любил ее – не из благодарности за карьеру, нет. Я просто любил ее. И сама мысль о том, что мой уход из компании будет расценен как предательство, была мне невыносима.

– И все-таки вы хотели уйти... И вы говорили об этом с мадам Сават...

– Я не ушел.

– А теперь? – малыш Дидье приоткрывает пасть и меланхолично запускает туда пальцы.

– Что – теперь? – мне остается только следить за Бланшаром, выстукивающим на резцах что-то совсем уж легкомысленное: в диапазоне от классики до брит-попа.

– Теперь этических соображений не должно существовать. Мадам Сават мертва, и никто не обвинит вас в предательстве. Вы свободны.

– Я не убивал Мари-Кристин.

– Разве я обвиняю вас в убийстве, мсье Кутарба? Просто на данном этапе вашей жизни ее гибель снимает многие проблемы.

– Повторяю. Никаких особых проблем не было.

Ах ты, сукин сын, блоха при исполнении, чихать я хотел на все твои финты!..

– Когда вы в последний раз видели мадам Сават?

– Я встречал ее в аэропорту, – я все еще стараюсь сохранять спокойствие. – Около двух недель назад... Если вы

помните, мы начали беседу именно с этого.

– Я помню. Вы встретили ее в аэропорту – и?..

– И отвез в гостиницу «Невский палас». Это в центре. Она всегда там останавливается. Много лет.

– Вы расстались в отеле?

– Нет. В тот день мы вообще не расставались...

– Пятнадцатого января?

– Скорее всего. Скорее всего – пятнадцатого... У меня плохая память на даты.

– И давно? – Бланшар, наконец-то, вынимает пальцы изо рта; но только затем, чтобы обрушить их на край ни в чем не повинного стола.

Это уже не брит-поп, это рокапопс, никакой определенности в стиле, Бланшар всеяден.

– Что – «давно»?

– Давно плохая память?

– Всегда была плохой.

– Страдаете провалами? – недомерок сочувственно шмыгает носом.

– Нет. Просто даты для меня несущественны.

– С таким подходом трудно рассчитывать на успешный бизнес...

Самое время расхохотаться в лицо сукиному сыну Дидье. Что я и делаю, в самый последний момент сменив оскорбительный хохот на надменное похмыкивание.

– И тем не менее... Результаты успешного бизнеса налицо.

А для дат существуют ежедневники.

Теперь уже хмыкает Бланшар.

– И вы позволите взглянуть на ваш ежедневник?

– Это вряд ли. Там много конфиденциальной информации, которая как раз и касается бизнеса.

– Понятно. Но я не шпион конкурирующей фирмы... Я расследую дело об убийстве мадам Сават.

– Откуда я могу знать? Я вас первый раз вижу. И вот еще что, Бланшар... Эта ваша дробь... Несколько отвлекает. Если возможно – перестаньте барабанить по столу.

Недомерок вспыхивает, как будто его застали за чем-то неприличным.

– Дурная привычка. Простите...

Пальцы Бланшара моментально сжимаются в кулак, после чего кулак оказывается зажатым между коленями. Похоже, отрочество малыша Дидье было еще более безрадостным, чем я мог предположить. А с такими комплексами даже на широкоскулую официантку рассчитывать не приходится.

– Вернемся к пятнадцатому января. Вы отвезли мадам Сават в отель. Что было после?

– Пообедали в ресторанчике «Лас Торрес». Это совсем рядом, и Мари-Кристин он всегда нравился. Тихое место, испанская кухня, живая музыка и все такое... Нам нужно было обсудить кое-какие проблемы.

– Касающиеся вас обоих?

Дешевые финты продолжают, но теперь мне совершен-

но на них наплевать.

– Касающиеся «Сават и Мустаки». Мари-Кристин имела бизнес в России. Думаю, вы об этом осведомлены. Два бутика, первый открылся семь лет назад.

– Его руководство осуществляете вы?

– Нет. Скажем, я за ними приглядываю. Менеджмент и персонал – русские. Я вернулся в Россию всего лишь месяц назад.

– Зачем?

Меньше всего мне хотелось бы обсуждать эту проблему с выскочкой из парижского комиссариата.

– Это как-то связано с вашими... э-э... трениями с мадам Сават? – продолжает напирать малыш.

– Все гораздо проще. Я вел переговоры об открытии в Петербурге парфюмерного магазина нашей фирмы.

– Удачно?

– Вполне. В последние полгода я часто бывал в России, как раз по этому поводу. Помещение было получено три месяца назад. Ремонт ведется ударными темпами, и я посчитал, что на последнем этапе мое присутствие здесь необходимо.

– Пригласите на открытие?

Надо же, какая детская непосредственность! Интересно только, что за ней стоит.

– Думаю, что в связи с последними событиями... Я имею в виду смерть Мари-Кристин... Открытие придется отложить. На неопределенное время.

Вежливый отказ. Кажется, именно так называлась одна из композиций твоего тезки, Бланшар, Дидье Маруани из группы «Space», – «Вежливый отказ». Интересно, сможешь ли ты выступить ее на столе, недомерок?..

– Это ничего. Я пробуду здесь до тех пор, пока преступление не будет раскрыто. Думаю, это дело не одного дня...

Дело не одного дня – это точно. В морге Мари-Кристин выглядела так, как будто убийца – кто бы он ни был – был вдохновлен самим актом преступления. И подошел к нему со всей ответственностью. И имел свой собственный почерк. Неуловимо знакомый, но вспоминать об этом не хочется. Ни при каких обстоятельствах. Даже мысли о французской ищейке выглядят куда более невинно. Без сомнений, Дидье Бланшар меня ненавидит. Уже потому, что я имею наглость существовать, – с физиономией, которая нравится женщинам по определению. А за принадлежащие лично мне и ничего мне не стоящие сто восемьдесят пять сантиметров роста он и вовсе закопал бы меня живьем. Неподалеку от культурного центра Жоржа Помпиду.

– Я понимаю, Бланшар. И готов всячески содействовать следствию. Хотя пользы от меня будет немного... Но... Мари-Кристин очень много для меня значила. Очень.

Лучше бы я этого не говорил.

– Вы не выглядите как человек, потерявший близкого, – беззубо уличает меня недомерок.

– А вы знаете, как выглядят люди, потерявшие близких?

Просто я привык бриться каждый день. И менять рубашки. Уж вы простите...

Без сомнений, ищейка меня подозревает. Если не в самом убийстве, то по меньшей мере в соучастии. Тупоголовый русский альфонс, воспользовавшийся благородной французкой в возрасте. И кинувший ее при первой возможности.

– Бог с ними, с рубашками. И с бритьем. – Бланшар с остервенением трет смехотворный пух на скулах; у пуха нет никаких шансов трансформироваться в мало-мальски приличную щетину. – Куда вы отправились после ресторана?

– Съездили посмотреть на будущий магазин. Ремонт там почти закончен. Мари-Кристин осталась довольна.

– А потом?

– Потом я отвез ее обратно в отель. Вечером предполагалась вечеринка, которую устраивали ее здешние друзья. И Мари-Кристин необходимо было переодеться.

– Вы поднялись вместе с ней?

– Нет. У меня было небольшое дело. Опять же, касающееся магазина.

– Вы же сказали, что не расставались...

Проклятье! Неужели Мари-Кристин заслуживает того, чтобы ее дело вел этот урод? Неужели во всем Париже не нашлось никого более достойного?

– Черт возьми! Те времена, когда я сопровождал ее даже в душ, прошли безвозвратно!

Интересно, зачем я сказал это? Я никогда не сопровождал

Мари-Кристин в душ, она была слишком щепетильна. Как и положено зрелой женщине, имеющей молодого любовника.

– Ну-ну, не надо так волноваться, мсье Кутарба.

– С чего вы взяли, что я волнуюсь?.. Я встретил ее через полтора часа в холле. И мы отправились на вечеринку.

– Куда и к кому?

– Я уже давал показания. Они должны быть в деле.

– Они еще не переведены.

– Да, я понимаю. Супружеская пара, очень милые люди. Она – дизайнер по интерьерам, довольно преуспевающий. Оформляла оба бутика «Сават и Мустаки». Зоя Грекова. Ее муж Илья занимается издательским бизнесом. Два или три журнала, влиятельных в мире fashion. Кроме того, он владелец клуба «Lovers Rock». Там-то и проходила вечеринка... Вы никогда ничего не записываете, Бланшар?..

С самого начала нашего разговора – в отличие от русских следователей, не отрывающих глаз от бумаги, – малыш Дидье не сделал ни одной пометки.

– У меня хорошая память, мсье Кутарба. Продолжайте.

– Собственно, я почти закончил. Я пробыл там недолго, что-то около часа.

– А потом?

– Потом я уехал, а Мари-Кристин осталась. Больше я ее не видел. Во всяком случае, живой...

Чертов недомерок снова начинает выстукивать на столе – теперь уже нечто психоделическое. Пауза затягивается, но

прерывать ее у меня нет никакого желания. Я знаю, каким будет следующий вопрос, Бланшар просто не может его не задать.

И он задает.

– Куда же вы уехали?

– У меня была еще одна встреча. На этот раз личного характера.

– Личного характера?

– Я недостаточно ясно выразился? Свидание с девушкой.

– Ага. С девушкой, – малыш Дидье улыбается мне так, как будто мы вместе курили в школьном туалете. – И она может это подтвердить?

– Какого черта!.. – я срываюсь, второй раз за последние десять минут. Но тут же беру себя в руки. – Это была сугубо личная встреча, повторяю. И мне бы не хотелось беспокоить девушку по пустякам...

– Пустякам? Вы считаете, что убийство вашего босса... Женщины, которой вы, по вашим словам, обязаны всем, – пустяк?

– Нет, но... – кажется, я сглупил.

«Сглупил», – щерятся два казенных стола. «Сглупил», – скалится мастодонтовый, крашеный охрой сейф. «Сглупил», – улюлюкает груда колченогих стульев. «Сглупил», – веселятся бумагаейные шторы на окнах, и почему только я в них не высморкался?.. Надо положить конец всему этому.

– Просто встреча не состоялась. Девушка не пришла.

– И она может подтвердить это?

Я молчу. Конечно, я мог сказать все, что угодно. Что уехал из «Lovers Rock» только потому, что устал или плохо себя чувствовал, в конце концов, никто не принуждал меня остаться. Разве что Мари-Кристин вспылила по этому поводу, ей почему-то необходимо было мое присутствие. Теперь она мертва и не может свидетельствовать ни «за», ни «против», чего нельзя сказать о светских гиенах Грековых. Все это время они кружили поблизости от «машерочки», – слова гнуснее, чем это, не придумашь. Даже в дамскую комнату провожали всей стаей... Наверняка капнули на меня, Зоя с некоторых пор и на дух меня не переносит, а Илья – известный подкаблучник, пляшущий под дудку жены. Что ж, придется выкручиваться на ходу.

– Она может подтвердить это? – Бланшар настойчив.

– Вряд ли. Я даже не знаю ее телефона. Познакомились накануне, я пригласил ее на свидание, она не пришла. Обычное дело.

Обычное дело для лилипута в ортопедических стельках. Но не для такого парня, как я, брюнетистого душки с модельной внешностью и джипом «Wrangler». Плевать, что ездить в нем, – все равно что скакать на лошади, со всеми издержками этого лихого ковбойского занятия. Зато экстерьер подкупает.

Экстерьер подкупает, и все, что ты лепишь насчет не пришедшей на свидание девушки, и яйца выеденного не стоит

– именно это написано сейчас на маловразумительной физиономии Бланшара. Но надпись держится секунд тридцать, не больше. Сам того не подозревая, я попал в точку: очевидно, недомерку столько раз подобным образом отказывали в свидании, что ему проще взять меня в союзники. Минутное торжество («и тебя, случается, обламывают, красавчик») того стоит.

– Ну хорошо... Значит, свидание не состоялось?

– Я уже сказал.

– И куда вы отправились после этого?

– Домой, куда же еще. Возвращаться в клуб не хотелось, да и не имело смысла. К тому же нужно было подготовить кое-какие материалы для Мари-Кристин...

– А кто-нибудь может подтвердить, что вы поехали именно домой?

Вопрос застает меня врасплох. До сегодняшнего дня никто этим особо не интересовался.

– Я живу один.

– Жаль, – малыш Дидье сочувственно качает головой.

– А я привык. К тому же мне нравится жить одному.

– Жаль, что никто не может подтвердить это. Консьержка?

– В нашем доме нет консьержки. Только кодовый замок.

– Соседи?

– Увы. Я даже не знаю, кто мои соседи. Квартира съемная, я и месяца там не живу. А что, это имеет принципиальное значение?

– Лучше бы вы провели этот вечер с девушкой, мсье Кутарба. А лучше – с двумя. А еще лучше – остались бы в клубе... До утра.

– А что, собственно, произошло? – Не то чтобы я начал волноваться, но... От последней реплики Бланшара ничего хорошего ожидать не приходится.

– Ничего, что может вас утешить. Значит, вы вернулись домой...

– Вернулся домой. Привел в порядок кое-какие бумаги. Принял ванну. Поставил фильм на видео. И завалился в кровать.

– В котором часу завалились?

– Не помню точно. Что-то около одиннадцати. Обычно я ложусь позже, но день был тяжелый...

– Да, день был тяжелый, – согласно кивает головой ищейка. – Тяжелый день...

– Да что, черт возьми, произошло? – не выдерживаю я.

Как я не сообразил – Бланшар ждал именно этого вопроса. Паук-трудоголик вышел на исходную позицию, и теперь ему остается лишь обработать вляпавшуюся в паутину жертву.

– Мадам Сават покинула клуб через час после того, как из «Lovers Rock» уехали вы сами. А до этого был телефонный звонок на ее сотовый. Он-то и заставил мадам смотреть удочки.

– Да? И кто же ей звонил?

– Вы, мсье Кутарба.

Несколько мгновений хренов недомерок наслаждается произведенным эффектом. Интересно, как я сейчас выгляжу со стороны? Не в мотоциклетных аксессуарах из черной кожи, не в жемчужно-сером смокинге, не в полинявших джинсах порнозвезды – в этом я всегда смотрелся ничего себе. Телефонный звонок от меня, всего и делов, – но от убедительности модели и следа не остается. Я снова чувствую себя трусливым сиамским братцем со свалывшимся подшерстком и вечно горящим сопливым шрамом на затылке. Анук умерла бы со смеху.

Тем более что я **не звонил** Мари-Кристин. Ты же знаешь, Анук.

– Я?..

– Вы, мсье Кутарба. – Бланшар не может отказать себе в удовольствии размазать меня по стене. Окончательно.

– Чушь. Я не звонил ей. Зачем мне было звонить ей?

– Хотя бы для того, чтобы назначить встречу.

– Я должен был подъехать в отель к десяти. Следующим утром. Мы договорились с Мари-Кристин...

– Сначала договорились, а потом передумали. Такое случается.

– Я не звонил Мари-Кристин. Ей мог позвонить кто угодно.

– Но она сама сообщила, что едет на встречу с вами.

– Кому?

– Этим своим друзьям. Супругам, которые пригласили ее.

Показания имеются.

— Они же еще не переведены... — леплю я первую пришедшую в голову глупость.

— *Ваши* показания не переведены. С остальными дело обстоит лучше. Птичка упорхнула из клуба «Lovers Rock» ровно в половине одиннадцатого. Полетела на ваш зов, мсье. А через два с четвертью часа ее не стало. Что скажете?

— Что я скажу? — липкая бланшаровская паутина забивает мне рот. — Это просто бред. Что еще я могу сказать?

— Я бы на вашем месте подумал, мсье Кутарба. Впредь любое сказанное вами слово может быть использовано против вас.

— Да пошли вы... — не выдерживаю я. — Повторяю. Я не звонил Мари-Кристин. Ей мог позвонить кто угодно. Попросить о встрече от моего имени, если уж на то пошло. Да мало ли...

— Ага, — неожиданно оживляется Бланшар. — Конечно, свидетельства двух очевидцев в этом щекотливом вопросе недостаточно. Тем более что самого разговора никто непосредственно не слышал... Насколько я знаю, вы водите джип «Вранглер»...

— Да. Но какое отношение...

— Джип принадлежит вам?

— Да.

— Больше никто им не пользуется?

— Джип принадлежит мне.

– Красный «Вранглер» с черной съемной крышей... И тонированными стеклами. Так?

– Да. – Интересно, какую карту ты еще приберег в рукаве, недомерок?..

– Самое интересное во всей истории, что ровно в двадцать два пятьдесят мадам Сават села в красный «Вранглер» с черной съемной крышей. И тонированными стеклами. В вашу машину, мсье.

Это неправда. Это не может быть правдой. Просто потому, что в тот вечер, уехав из клуба, я больше не видел Мари-Кристин. И она никак не могла оказаться в моей машине. Просто потому, что и с красно-черной лошадкой я не расставался. Но своих свидетелей, в отличие от мертвой Мари-Кристин, я никогда не сдам.

Ни за что.

А у Бланшара и впрямь хорошая память. Просто фантастическая, учитывая реалии чужой страны. Он так ни разу и не сунул носа ни в какую бумажку. Зато – теперь уже перед моим носом – возникают ботинки малыша Дидье. Вернее, подметки: Бланшар забросил ноги на стол, метод работы французишки впечатляет. Сукин сын, нажрался американских фильмов, не иначе.

Лучше бы тебе этого не делать, сукин сын.

В исполнении Мела Гибсона или Курта Рассела это еще бы смотрелось. Но в твоём... Мелковат ты, парень, для таких телодвижений. Я с некоторой брезгливостью рассматриваю

кукольный размер бланшаровских ботинок, ни дать ни взять японская гейша, даже ноги бинтовать не приходится. Правда, с существенной оговоркой: гейша никогда не подложит такой свиньи, какую подложил Бланшар.

– В мою машину? Это невозможно.

– А вот мсье Греко́фф утверждает противоположное. Это ведь он добросил мадам Сават до предполагаемого места встречи.

– Очень галантно с его стороны...

– И неутешительно для вас. Если верить показаниям мсье издателя, он высадил мадам на улице Большая Монетная. Знакомое название?

Еще бы незнакомое. До рези в глазах знакомое. Именно на Большой Монетной располагается парфюмерный магазин «Сават и Мустаки», открытие которого должно было официально состояться в начале февраля. Кому понадобилось вызывать Мари-Кристин на Большую Монетную?..

– Там находится будущий фирменный магазин вашей компании, жаль, мадам Сават уже не сможет присутствовать на его открытии...

Далось тебе это открытие, Бланшар!..

– С вашего позволения, мсье, я продолжаю. Издатель сам вызвался подвезти мадам. Оно и понятно, время позднее, а в России никто не может гарантировать безопасность личности, так что лучше позаботиться об этом самим...

– Ну да... Лучше позаботиться об этом самим, – я все еще

тупо рассматриваю подметки полицейского.

– Мадам это не помогло, к сожалению... Мсье Грекофф утверждает, что, когда они подъехали, ваш джип стоял на углу, метрах в двадцати-двадцати пяти. Он следил за мадам до того момента, пока она не села в машину.

– Мою машину?

– Вашу. Он ее хорошо знает, не так ли?

Знает как никто, вот проклятье! Именно Илья Греков продал мне красный «Вранглер» месяц назад, сменив его на более престижный и куда более комфортабельный «Мицубиси Паджеро».

– И он видел за рулем именно меня?

– Ну, за тонированными стеклами, да еще на плохо освещенной улице разглядеть водителя было трудно. Но вы же сами сказали, что джипом никто, кроме вас, не пользуется. И потом... Когда вы проехали мимо, вы посигналили мсье Грекофф.

– Зачем? – Похоже, я начинаю втягиваться в чудовищную игру, правила которой навязывает мне Бланшар.

– Откуда же я знаю – зачем? Очевидно, хотели таким образом сообщить ему, что все в порядке и мадам получена, так сказать, в целости и сохранности.

– Повторяю еще раз. В тот вечер я больше не видел Мари-Кристин. Я не звонил ей, не назначал встречу и уж тем более не ждал ее на Большой Монетной. Какой мне смысл лгать вам, Бланшар?

– А какой смысл лгать мсье Грекофф? – тут же парирует коротышка. – Уж его-то никак нельзя назвать заинтересованным лицом.

Я делаю два глубоких вдоха, забыв выдохнуть в промежутке: жалкое насекомое с плохо выбритым лейблом «**Sauvat & Moustaki**» на затылке – паучонок из парижского комиссариата обработал тебя на славу!.. Но на секунду мне кажется, что в самом конце мрачного тоннеля забрезжил свет.

– Послушайте, Бланшар... Это всего лишь его слово. Его – против моего. Даже если все видели, что Мари-Кристин покинула клуб... Она его покинула, не более. Это единственная правда. Все остальное может быть вымыслом... Того же Ильи Грекова и его жены Зои. Включая бредни про телефонный звонок...

– Ну надо же... А они считают вас своим хорошим другом, эти супруги Грекофф...

Старые песни. Терпеть не могу этих пятнистых гиен, этих холеных ехидн, эту парочку пресыщенных скунсов. И как только умудренная жизнью и в меру циничная Мари-Кристин могла иметь с ними что-то похожее на теплые приятельские отношения? Меднолобые снобы, хотя Зое Грековой нельзя отказать в дизайнерском таланте. И хватке. Она с легкостью получает заказы, о которых другие могут только мечтать. Философия выбивания заказов как философия соблазнения – именно ее Зоя и придерживается. Она не ведет

переговоры – она обхаживает, окучивает, обволакивает. И сражает наповал выморочной бледностью и героиновым шиком. Тонкие, почти невесомые кости Зои постукивают друг о друга, как кастаньеты, а улыбка так мимолетна и беспомощна, что ей сразу же хочется отдать все имеющееся в наличии бабло. А ну как на дозу не хватит и модная дамочка склеит лапы прямо у вас на глазах?.. Не всякий может выдержать подобное испытание.

И ведь не выдерживают.

К тому же Зоя полностью отвечает расхожим представлениям заказчиков о декадансе, модерне и арт-деко – в зависимости от макияжа и освещения. Я несколько раз был в ее салоне на Литейном, этаким гибриде офиса и опиумного притона. Две непорочные китайки и два чувственных латинских мачо – вот и весь штат. С китайскими девочками хочется переспать заказчикам, а с латинскими мальчиками – заказчицам.

Покурить кальян тоже хочется.

Именно на кальян я и попался, Анук умерла бы со смеху.

Зоя же предпочитает кальяну сигары, а Илья не курит вообще. Он помешан на здоровье и поддержании формы, а лучшей любовницей для него до сегодняшнего дня остается тренажер «беговая дорожка»...

– Ну, друзья – это сильно сказано. Скорее, они были друзьями Мари-Кристин...

– Тем более им не имеет смысла лгать, мсье Кутарба. Но

даже если допустить какой-то дальний умысел... – чертов недомерок, очевидно, задался целью вытянуть из меня все жилы. – Даже если допустить... В деле имеются показания еще одного свидетеля...

Час от часу не легче.

– ...человека, который не имеет никакого отношения ни к вам, ни к мадам Сават, ни к обоим супругам.

– И кто же это?

– Девушка, – глаза Бланшара мечтательно закатываются. – Начинаящая модель. Работает в каком-то из агентств и в тот вечер тоже находилась в клубе. Она попросила мсье Грекофф подвезти ее.

– И что?

– А то, что из клуба они вышли втроем: издатель, мадам Сават и девушка. И, в продолжение всех ваших несчастий, мсье, первой они высадили именно мадам. И девушка подтвердила все, сказанное издателем. Она видела джип и видела, как мадам садилась в него. А уже потом мсье Грекофф подбросил ее к дому.

– С каких это пор Илья занимается подобной благотворительностью? – этот вопрос я задаю скорее себе, чем Бланшару.

Так, мысли вслух. При всем своем светском лоске Илья Греков вовсе не помешан на женщинах. Исключение составляет лишь его жена, Зою он боготворит. Вернее, пресмыкается перед ней, ползает по-пластунски. Иногда это выглядит

просто неприлично, и тогда я начинаю думать, что природа чувств Ильи Грекова не так бескорыстна, как кажется на первый взгляд. И что томная «Зой» (как называла ее Мари-Кристин) знает об Илье нечто такое, что заставляет его быть начеку. И прилагать все усилия к тому, чтобы маленькая грязная тайна – если таковая и существует – не всплыла на поверхность.

– Вы считаете, что ваш приятель совершил из ряда вон выходящий поступок?

– Нет, но...

Если бы этой девушки не существовало, ее стоило бы придумать, именно так считаю я.

– Вы сказали, она работает в модельном агентстве?

– Да. Ирма Новак, если это имя о чем-то вам говорит.

Ни о чем. Это имя не говорит мне ни о чем. Один-ноль в пользу Бланшара. Хотя... Кой черт «один-ноль», недомерок накидал мне в корзину массу сухих мячей, счет становится угрожающим, – и я не вижу никакой возможности размочить его.

Никакого просвета.

– Я не виделся с Мари-Кристин тем вечером. Больше мне нечего добавить.

– Стоит ли упорствовать, мсье Кутарба? – в голосе Бланшара появляются лживые нотки отца-исповедника. – Вас никто не обвиняет в убийстве.

– Я не виделся с Мари-Кристин тем вечером.

– Но если вы будете опровергать очевидное, то у следствия могут возникнуть подозрения...

– Я не виделся с Мари-Кристин тем вечером.

– Хорошо, оставим эту тему. Какой фильм вы смотрели?

– Не понял?

– Вы сказали, что перед тем, как заснуть, смотрели фильм. Какой?

– Это имеет значение?

– Нет, но... Просто интересно.

– Не помню. Сунул первую попавшуюся кассету... Не помню. Что-то совсем уж легкое... Да, определенно, это была комедия.

Вот черт, я впервые солгал Бланшару. Не утаил часть сомнительных фактов, не ушел от ответа – откровенно солгал. Первой попавшейся кассетой был «Диллинджер мертв». Первой – и последней, потому, что никаких других в наличии не имеется. «Диллинджер» – единственный фильм, который я смотрю. Нет, не так.

«Диллинджер» – единственный фильм, который я **вижу**.

Время экспериментов с Диллинджером прошло, я убил на них целый год, я избороздил вдоль и поперек все парижские киношки. И не только парижские, корешков от билетов с лихвой хватило бы, чтобы заполнить рюкзак Анук. Я ходил и на дневные сеансы, и на вечерние, я ходил на дешевое порно и на высоколобые авторские ретроспективы, на американские блокбастеры, японские мультяшки, скандинавскую

документалистику и немецкий научпоп – без толку, миссия невыполнима, я вижу только «Dillinger E'Morto». Я знаю этот идиотский фильм наизусть, в нем, как обычно, ничего нового не происходит. В нем вообще мало что происходит, даже два ленивых выстрела сквозь подушку в финале и следующее за ними такое же ленивое и необязательное убийство смотрятся блекло, ты бы не порадовался этому делу, Бланшар. Да что там, ты бы всех собак на него свесил... Последовательность кадров тоже не меняется, как не меняется физиономия Мишеля Пикколи⁶, сомнительного героя «Диллинджера». Если уж на то пошло, я предпочел бы пялиться на Одри Хёпберн или Фанни Ардан, женские лица привлекают меня куда больше, но я обречен на лысоватого буржуа с повадками шеф-повара недорогого ресторана. Последовательность, мать их, кадров не меняется; хронометраж незыблем и выверен раз и навсегда: на шестнадцатой минуте в шкафу находится старый револьвер. Револьвер завернут в документально подтвержденную смерть Джорджа Герберта Диллинджера (газета с фотографиями и короткий натурфильм на ту же тему прилагаются). На чистку адской машинки уходит еще тридцать пять минут экранного времени – с перерывами на приготовление ужина, просмотр запиленной в хлам любительской киноподбодяги и снование по комнатам. Выкупанный в красной аэрозоли и раскрашенный белыми точками (надо же хоть чем-то занять себя до убийства!) револьверчик вы-

⁶ Французский актер, исполняющий главную роль в фильме.

глядит по-детски безопасно, но только до семьдесят пятой минуты, когда из того же шкафа извлекаются патроны, числом 11. В барабан перековывают шесть, но для убийства сквозь подушку хватит и двух...

О, ты бы не порадовался этому делу, Бланшар! Его во семьдесят первой минуте, когда лысоватый буржуа наконец-то грохает свою нажравшуюся снотворного жену. Привлекательную, безнадежно блондинистую цыпочку с тремя репликами в начале. Три реплики и случайно найденный револьвер – достаточный повод, не правда ли? Что скажешь, Бланшар?..

Я ненавижу этот фильм, потому что не могу избавиться от него.

Я точно знаю, никогда от него не избавлюсь.

Смириться с этим трудно, почти так же трудно, как с ночными кошмарами, которые исправно поставляет мне Анук. Но ночные кошмары разнообразны и в какой-то мере поэтичны; они полны тайных знаков, которые я забываю, стоит мне только открыть глаза.

Впрочем, коротышке полицейскому совершенно необязательно знать об этом.

– Я тоже люблю комедии...

– Надо же, какое совпадение, Бланшар...

– ...но терпеть не могу, когда их ломают в жизни. Сдается мне, именно этим вы сейчас и занимаетесь, мсье Кутарба.

Никакой угрозы в голосе – напротив, тонкие губы недо-

мерка снова разъезжаются в дружелюбной улыбке.

– Тело мадам Сават было найдено следующим утром, в том самом магазинчике, от которого вы с ней отъехали накануне...

– Я не виделся с мадам...

– Тело было найдено следующим утром. Рабочими, которые занимались чистовой отделкой помещений. Вы видели его?

– Тело?

– Да.

– Меня пригласили для опознания.

– Вас нашли только к вечеру. До этого ни один ваш телефон не отвечал.

– Я рано уехал из дома. У меня были дела.

– Встреча с мадам в десять утра? Не так ли?

Проклятье!..

– Я должен был подъехать к гостинице в десять...

– Но вас там не было. Во всяком случае, портье вас не видел. Никто не спрашивал мадам Сават тем утром.

– Да-да...

– Никто не звонил ей в номер.

– Разве я сказал, что звонил ей? Я хотел... Хотел позвонить, предупредить, что не успеваю к десяти. Перенести встречу...

– Что же не позвонили?

– У меня села трубка. Аккумулятор разрядился.

– С утра пораньше? – Бланшар смотрит на меня с сочувствием.

– Забыл поставить телефон на зарядку. Такое случается.

– При вашем успешном бизнесе? Такие проколы исключены. Тем более у вас имеется автомобильный аккумулятор. Он всегда лежит в бардачке, не так ли?

Проклятье!..

– Откуда вы знаете про автомобильный аккумулятор?

– Знаю. Вы нервничаете, мсье Кутарба? Вы очень впечатлительный человек...

– Я не имею никакого отношения к смерти Мари-Кристин.

– В это все труднее поверить, уж простите. Так какие же срочные дела заставили вас отложить встречу с патронессой?

– Вы обвиняете меня в убийстве?

Полицейская скотина снова принимается выстукивать пальцами по столу.

– Я не обвиняю вас в убийстве. Я просто хочу получить вразумительные ответы на простые вопросы. Это так сложно?

– Послушайте, Бланшар. Давайте рассуждать логически, – я пытаюсь взять себя в руки. – Если предположить, что я...

Произносить вслух слово «убийца» мне не хочется, и я несколько секунд толкусь на многоточии.

– ...если предположить, что я был заинтересован в смерти Мари-Кристин... Тогда какого черта я засветился вечером?

Да еще с помпой проехал мимо возможных свидетелей?

– Вы не могли знать, что мадам подбросит к месту встречи кто-то из своих.

– Но я мог это допустить.

Бланшар начинает недовольно пыхтеть: отлично, нужно закреплять успех.

– Второе. Уж поверьте, для убийства я выбрал бы другое место. И уж никак не магазин, в котором ее нашли. Я ведь знал, что работы по отделке ведутся срочными темпами, я сам их курирую. И о том, что рабочий день на объекте начинается в девять, мне тоже хорошо известно. Очевидная глупость – оставлять тело там, где оно может быть обнаружено скорее всего. Разве я не прав?

– Допустим...

– И наконец. Почему я не приехал в гостиницу с утра? Я должен был быть там. Я просто обязан был гарцевать в холле и мозолить всем глаза. Я должен был поднять тревогу.

– Это не может служить алиби.

– Но это по меньшей мере логично. Вы не согласны?

– Почему вы не приехали в отель?

– Я не смог приехать. Иногда я не приходил на встречи – и это не было для Мари-Кристин новостью.

– Вот как? И как она к этому относилась?

– Скажем, с пониманием.

– Вас удалось найти только во второй половине дня. Внезапно заработал телефон? – Бланшар все еще пытается под-

ловить меня.

– Почему же внезапно? Я просто вспомнил, что он отключен, и поставил его на подзарядку. Звонок раздался почти сразу.

– Кто сообщил вам о смерти мадам?

– Топ-менеджер бутика на Невском проспекте. Там же находится головной офис «Сават и Мустаки».

– И вы...

– Я сразу же поехал на Невский. Там уже торчало несколько человек из следственных органов...

– Очевидцы утверждают, что вы выглядели достаточно спокойным, мсье Кутарба. Во всяком случае, были гораздо менее взволнованы, чем сейчас.

– Вы говорите так, как будто присутствовали при этом. Черт... Я просто не поверил. Просто не поверил... Вы отвечаете на самый простой звонок. Самый простой, каких десятки. И вам сообщают о смерти близкого человека. Я просто не поверил – вот и все. Я не верил в это до самого конца. До того, как увидел Мари-Кристин в морге.

– Значит, не поверили?

Интересно, что ты еще затеваешь, Бланшар? По твоей лоснящейся физиономии видно – затеваешь. Невооруженным глазом видно.

– Не поверил.

– Странно.

– Что именно?

– Что до сих пор к этому не привыкли. Кажется, это не первая смерть в «Сават и Мустаки». Не первая насильственная смерть, я имею в виду. За год до этого фирма лишилась еще одного своего совладельца. Освежить вам память?

– Не стоит.

Вот оно. Вот оно и всплыло. С другой стороны, не могло не всплыть. Просто не могло. Ведь ты приволокся в Россию еще и поэтому, Бланшар. Потому что оба убийства – и старое, у винных складов неподалеку от Берси, и новое, на Большой Монетной, – чем-то неуловимо похожи друг на друга. Сходный своей витиеватой бессмысленностью почерк, о котором даже думать не хочется.

– ...А я все-таки рискну, мсье Кутарба. Чуть больше года назад, в декабре, на винном складе в районе улицы Корбье было найдено тело Азиза Мустаки, уроженца Алжира, 56 лет, – монотонный треп Бланшара убаюкивает меня. – Отвратительное, доложу я вам зрелище...

– Вы при нем присутствовали?

– Я изучал материалы этого дела. Уже после того, как пришло сообщение о смерти мадам Сават. Было найдено именно тело. Обезглавленное. Голова нашлась позже, на том же складе. Она плавала в ведре с вином...

– «Puligny Montrachet»... – я не узнаю собственного голоса.

– Не понял?

– «Puligny Montrachet» – его любимое вино. Азиза. В нем

голова и плавала. – Вот черт, ну кто тянет меня за язык? – Меня и Мари-Кристин тоже знакомили с материалами дела. Год назад.

– И вы знали, что это его любимое вино?

– Об этом знали все. Кто так или иначе сталкивался с Азизом. Он не делал из этого тайны. Как не делал тайны из своих сексуальных предпочтений.

– Намекаете, что он был голубым? – на лице Бланшара появляется брезгливая улыбка.

– Почему же намекаю? Азиз Мустаки до самого последнего дня оставался конченным педрилой. Ни одной задницы не пропускал...

– И вашей тоже?

– ...ни одной задницы не пропускал – из тех, что в его вкусе. Нордический тип, вот что ему нравилось.

– А вы, стало быть, не нордический.

– Если говорить о типе, то я, скорее, латинский любовник...

«Мудак ты, а не любовник», – именно эти слова готовы сейчас слететь с губ Бланшара и камнем упасть мне на темя. И стараться не стоит, недомерок, – тем более что как любовник я и правда оставляю желать лучшего. Что же ты сделала со мной, Анук, моя девочка?..

– Да вы не расстраивайтесь, Бланшар. Это самый банальный тип, который только можно представить...

– Да я и не расстраиваюсь, мсье Кутарба, – на краде-

ных челюстях малыша Дидье обиженно вспухают желваки. – Тем более что убийство Азиза Мустаки банальным не назовешь...

– В гомосексуальной среде нередко такого рода выяснения отношений...

– Такого рода? Чтобы голова в ведре плавала?

– Я не это имел в виду, господи ты боже мой...

– Тогда выражайтесь яснее.

– Это очень специфическая сфера, и отношения в ней порой носят достаточно истеричный характер...

– Только не надо читать мне лекции по половым извращениям, – вспыхивает Бланшар. – Оставим это психиатрам...

– Я хотел сказать, что любовники иногда убивают друг друга.

– Не смешите меня, – и тени улыбки не просматривается, Бланшар удручающе серьезен. – Любовники убивают друг друга даже чаще, чем вы думаете, но не таким варварским способом.

– Способы бывают разными...

– Вы практиковали?

Парижская гнида положительно не хочет уняться. Ну, ладно.

– Азиз был гнусным типом. Откровенно растлевал молодняк под предлогом устройства карьеры. Очень многие хотят добиться вершин в модельном бизнесе, вот он и пользовался... Менял мальчиков с завидной регулярностью, чуть ли

не каждый месяц пополнял свой гарем. Об оргиях, которые он устраивал, ходили самые чудовищные слухи. Не думаю, чтобы кто-нибудь пожалел о его смерти...

– Но это не отменяет самой смерти, мсье Кутарба.

– Со мной имели беседы ваши коллеги... И не один раз. Я говорил тогда, скажу и сейчас: скорее всего, с Азизом просто свели счеты. Один из его многочисленных любовников. Мари-Кристин придерживалась того же мнения...

– Мадам Сават мертва, – тотчас же парирует коротышка. – А уж она, судя по всему, была ангелом во плоти. Да и любовников у нее было не так уж много.

– Я не очень следил за личной жизнью Мари-Кристин в последнее время. Работа. Работа – вот что интересовало меня больше всего...

– У нас еще будет возможность поговорить о вашей работе, – голос Бланшара не предвещает ничего хорошего. – Вернемся к Азизу Мустаки.

– Мне нечего добавить к тому, что я уже говорил. Год назад. Сами понимаете, что смерть главы фирмы не может не отразиться на положении дел в самой фирме. Имя «Сават и Мустаки» трепали на каждом углу. Это было самым неприятным.

– А вы патриот своей компании...

– Я проработал в ней семь лет. Для меня это гораздо больше, чем торговая марка...

– Оставим сантименты. Голова Азиза Мустаки была отсе-

чена. Причем отсечена при жизни. Вы понимаете, что это значит?

– Догадываюсь.

– Его даже не удосужились умертвить перед тем, как отрубили голову. Его казнили. Самым жутким средневековым способом.

– Я уже прожил эту историю, – Бланшар начинает утомлять меня, не хватало еще впасть в спячку, – и не хочу к ней возвращаться. Или вы можете сообщить что-то новое? Найден убийца?

Убийца алжирского шалуна так и не был найден; во всяком случае, до моего отъезда в Россию я располагал именно этими сведениями. Резво начатое дело так и осталось нераскрытым. Не было найдено орудие преступления (по слухам – то ли мясницкий топор, то ли мексиканский нож-мачете). Ничего не дали и изнурительные допросы его любовников. Нежнейшие подиумные норманны и викинги на поверку оказались высеченными из кремня, к тому же у каждого нашлось приличествующее случаю алиби. Следствие попыталось было разработать тухловатый алжирский след, но и это ни к чему не привело: не было доказано ни одного факта связи Азиза Мустаки с мусульманскими группировками на родине. Впрочем, все эти сведения можно было почерпнуть у кого угодно, включая секретаршу Николь и дауна Ю-Ю. Даже недалекая адептка мегаяиц и их безмозглый обладатель знали о том, что Азиз не был на родине по меньшей

мере лет тридцать и тщательно избегал контактов с соотечественниками. И никогда не исповедовал ислам. И восточной кухне – всем этим кускусам и мешуи, удобренным пряностями, – предпочитал европейскую.

– К сожалению, мсье Кутарба, к сожалению. За последний год следствие не особо преуспело. Но, возможно, оно сдвинется с мертвой точки, если мы установим, кто убил мадам Сават.

– А что, связь между этими преступлениями так очевидна?

Малыш Дидье посылает мне кривоватую ухмылку с самым нелестным подтекстом, что-то вроде «протри глаза, дурачок».

– А вы считаете случайностью, что в течение одного года «Сават и Мустаки» лишилась обоих своих учредителей? И, заметьте, они не умерли в своей постели и не стали жертвами автомобильной катастрофы. И волной за борт прогулочного судна их не смыло. Их убили, понимаете? Убили.

– Да... Я понимаю.

– К тому же имеется ряд совпадений...

– Каких же? – я начинаю волноваться.

– Ни в том, ни в другом случае огнестрельное оружие не применялось. Более того, оба убийства выглядят несколько экзотически... если не сказать эксцентрично. Алжирцу оттапали голову и утопили ее в ведре с дорогим вином. Которого, кстати, не было на складе.

– Да ну?

– Убийца привез его с собой. А это никак не меньше двух дюжин бутылок... Ну а мадам Сават...

– Пожалуйста, не надо.

Я слишком хорошо знаю, что случилось с Мари-Кристин, подробности еще не изгладились из памяти и вряд ли когда-нибудь изгладятся. Мертвая Мари-Кристин до сих пор стоит у меня перед глазами: живот вспорот и набит лоскутками материи и увядшими темно-лиловыми лепестками. Как впоследствии выяснилось, темно-лиловые лепестки принадлежали ирисам, а лоскуты материи – последней коллекции Мари-Кристин с весьма провидческим названием «Fatum». Именно из нее были извлечены платье покроя «принцесса» и кожаный, украшенный стразами килт⁷. Их-то убийца и располосовал на лоскуты, чтобы потом смешать с лепестками и... Думать о том, что произошло с Мари-Кристин после этого проклятого «и», я все еще не в состоянии. Как не в состоянии понять, кому понадобилось расписывать ее тело цветами – все теми же ирисами, но на этот раз стилизованными. А если добавить, что убийца обмакивал кисть (если это была кисть) в кровь самой Мари-Кристин... Более чудовищного боди-арта представить себе невозможно.

– ...Не стоит, Бланшар. Я знаю, что произошло.

– В обоих случаях убийца проявил недюжинную осведомленность о пристрастиях жертв. Не так ли, мсье Кутарба?

⁷ Шотландская юбка.

Мне нечего возразить тебе, недомерок. Сначала – «Puligny Montrachet», дорогое пойло, которое Азиз засасывал декалитрами. Затем – ирисы во всех возможных интерпретациях. С некоторых пор узоры с растительными мотивами стали едва ли не товарным знаком «Сават и Мустаки», к тому же Мари-Кристин питала пристрастие именно к ирисам. Весь подол чертовой «принцессы» был усеян орнаментом из лепестков, а стразы и мелкие зеркала на килте воспроизводили тот же рисунок. Платье (сразу же после показа) приобрела русская девица, слишком веснушчатая, слишком большеротая и слишком взбалмошная, чтобы составить чье-либо, подкрепленное приличным состоянием, счастье. Любить таких девиц невозможно, их можно только баловать; вот почему я подумал тогда, что у рыжего головастика имеется в наличии лягушка-папик, с завидным постоянством мечущий валютную икру. В отличие от платья, килт купить не успели. Он так и остался в коллекции, чтобы спустя несколько дней благополучно пропасть. Я хорошо помню день, когда килт исчез; вернее, день, который последовал за его исчезновением. Какая-то богатая стерва из шестнадцатого округа (из тех, что привыкли одеваться в «Лор Ашле», но время от времени с замиранием сердца изменяют любимому магазину с поделками от haute couture⁸) вспылала иррациональной страстью к куску чертовой кожи. Но предъявить madame оказалось нечего: килт как сквозь землю провалился. До-

⁸ Высокой моды.

прос с пристрастием ничего не дал, никто не видел его после показа, на котором он нежно обволакивал бедра Ингеборг Густаффсон – ведущей модели «Сават и Мустаки», волоокой шведки с темпераментом двухкамерного холодильника «Аристон». Уязвленная легкой тенью подозрений, шведка позволила себе слегка поитальянничать: опрокинула манекен, запустила в стену коробкой с булавками и пригрозила уходом к Йоджи Ямамото – напоследок. Это был откровенный блеф, таких волооких, прямоволосых и неземных у Ямамото пруд пруди, но Ингеборг оставили в покое: уж слишком бессмысленным казался сам факт кражи. Не менее бессмысленным, чем вспоротый живот Мари-Кристин, в котором всплыли обрывки килта, – спустя какие-то жалкие три недели. Не менее бессмысленным, чем само убийство.

Я знаю даже больше, чем ты, недомерок. Убийца – кем бы он ни был – связан с «Сават и Мустаки». А если и не с самой фирмой, то с миром *haute couture*, закрытым для посторонних на кодовые замки, щеколды, задвижки и цепочки. А если прибавить к этому жесткий фейс-контроль при входе... Тебя бы точно никто не впустил, недомерок, все твои бумажки и бумажки, подтверждающие бумажки, и обнюхивать бы не стали.

Я знаю даже больше, чем ты, недомерок. Например то, что убийств было больше, чем два. И что смерть Мари-Кристин будет не последней. Единственное, чего я не знаю: хватит ли у меня сил противостоять, хватит ли у меня сил положить

конец всему этому? И хватит ли у меня ума вычислить того, кто убивает? Впрочем, ум здесь ни при чем, до сих пор я смотрел на происходящее сквозь пальцы; сквозь толщу флаконов, дизайн которых разрабатывал я сам. Даже плавающая в ведре голова Азиза не произвела на меня должного впечатления: небесно-голубого покойника я терпеть не мог. Но Мари-Кристин... Мари-Кристин – совсем другое дело. И своей карьерой, и своим нынешним положением я обязан только ей... Черт, черт, черт, ну почему я скатываюсь на дешевый пафос и подбираю формулировки, уместные разве что в официальной беседе с коротышками типа Бланшара? Конечно же, все сложнее: Мари-Кристин была моей первой женщиной, и ни перешибить, ни отменить этого никто не может. Первая женщина никогда не бывает прошлым. Это-то и есть самое главное. Убийца не просто расправился с главой модного дома, он расправился с Моей Первой Женщиной. А потом подставил меня, бросил мне вызов, швырнул в лицо перчатку, наспех скроенную из кожаного килта со стразами. Возможно, я надоел ему до смерти, возможно, он нашел для своих экспериментов кого-то другого. Возможно, он сам уступил место **кому-то другому**. И тот, другой, на скорую руку обученный, оказался вовсе не таким сентиментальным, не таким чувственным и не таким утонченным...

– ...Призадумались, мсье?

– Я не даю себе труда думать о том, что лежит на поверхности, Бланшар. – Звучит не очень-то вежливо, но сдержанно.

вать свою неприязнь к коротышке я больше не в состоянии.

– Значит, и вы считаете, что убийца был как-то связан с вашей фирмой?

– Я этого не говорил.

– Но он мог быть связан с тем, кто связан...

– Скажите мне, Бланшар... Скажите, в этих убийствах есть логика?

Судя по физиономии малыша Дидье, я попал в точку; я исполнил роль хитрована стремянного, и теперь мне остается только наблюдать, как Бланшар будет взнуздывать своего любимого конька. Типов, подобных беспривязной ищейке из парижского комиссариата, не так уж трудно просчитать: они годами высиживают повышение по службе. А чтобы ждать было не так скучно – пачкают холостяцкую постель брошюрками по психологии преступлений, биографиями великих отравителей и криминалистическими справочниками. И скорлупой от фисташек.

– Логика есть в любом убийстве, мсье Кутарба.

– Ищи, кому выгодно? – я почти дружески подмигиваю Бланшару.

– Это логика следствия, мсье Кутарба, она предельно проста. Логика убийства куда сложнее.

Ого, кажется, я нарвался на философа! Коротышка перенапрягся с брошюрами.

– Я как раз работаю над монографией по данной тематике...

Похоже, Дидье Бланшар не только перенапрягся с брошюрами, но и пережрал фисташек.

– Вот как?

– Я закончил юридический факультет Сорбонны.

Щеки Бланшара раздуваются от неподдельного восхищения самим собой, он ждет от меня той же реакции. Природа восхищения не совсем ясна мне; возможно, малыш Дидье прибил к Сорбонне, будучи родом из зачумленной деревушки на атлантическом побережье. И в семье у него все были скорняками. И сам он в детстве страдал аутизмом и заиканием. И пёсился в кровать до двенадцати лет. Хрен тебе, недомерок, тоже мне – юридический факультет Сорбонны, в которой уже давно учатся все, кому не лень. И шушеры там гораздо больше, чем даже в кварталах, прилегающих к пляс Пигаль. Или к Булонскому лесу.

– Очень интересно. Вы подарите мне экземпляр?

– А вы интересуетесь психологией совершения убийства? – челюсти Бланшара хищно щелкают.

– Не то чтобы жить без этого не могу. Но любопытно было бы ознакомиться. Тем более после того, что случилось с «Сават и Мустаки»...

– Вы спрашивали о логике, мсье Кутарба... Вы имели в виду...

– Я имел в виду только одно – связаны ли оба убийства между собой.

– Это вопрос вопросов... И он напрямую касается вас, не

так ли?..

Я пропускаю последнюю реплику Бланшара мимо ушей: уж слишком муторно выслушивать очередную порцию намеков на мою возможную причастность к делу.

– Я долго думал над этим, мсье Кутарба...

Узкая полоска между торчащим ежиком волос и бровями (которую только по недоразумению можно назвать лбом) не оставляет в этом никаких сомнений.

– С одной стороны – обезглавлена крупная дизайнерская фирма, имеющая довольно прочные позиции на рынке...

– Существует масса фирм и модных домов с гораздо более прочными позициями. И потом... Хотя в мире моды и существует жесткая конкуренция, но воспользоваться подобными методами никому и в голову не придет...

– Вы не дослушали, мсье Кутарба. Я вовсе не имел в виду такую пакость, как заказное убийство. Это-то я как раз исключаю. Дело ведь не в самих убийствах, а в том, **как** они совершены. Заказуха обычно поставлена на поток, а здесь мы имеем дело со штучным товаром. Так сказать, с эксклюзивом. С prêt-à-porter убийства, если хотите...

Ну ты и загнул, коротышка!.. Коротышка же надолго замолкает, любуясь эффектом произнесенной им фразы. Должно быть, он долго репетировал ее: сидя на толчке или вертясь перед заплеванным зубной пастой зеркалом в ванной.

– Отрубленная голова и вспоротый живот – это вам не ба-

нальная дырка во лбу. Это больше смахивает на почерк серийного убийцы. Или маньяка.

– Вы полагаете?

– Я больше чем уверен... Я занимался этой проблемой еще в Сорбонне...

Так вот твой любимый конек, Бланшар! Маньяки и серийные убийства, Анук умерла бы со смеху. Но если бы ты только знал, как далек от истины, если бы ты только знал...

Бледная коняшка под Бланшаром пофыркивает и трясет удилами, самое время протереть ей круп. Листками из недописанной монографии.

– Значит, вы полагаете, что действовал маньяк?

– Скажем, я этого не исключаю.

– Вот как... А мне всегда казалось, что маньяк на то и маньяк, чтобы действовать по раз и навсегда определенной схеме. А между... как вы выразились... отрубленной головой и вспоротым животом не так уж много общего.

– Схема может быть любой. – Бланшар снова начинает долбить пальцами по столу, чертов дятел с паучьим прикусом. – Главное – понять ее. Определить, так сказать, систему координат...

– И вы определили?

– Почти. Во всяком случае, одно не вызывает сомнений: убийства не просто совершены...

Ценная мысль.

– ...они обставлены. С инквизиторской пышностью. И

смахивают на ритуал.

– Вы думаете?

– А вы – нет?

– Выходит, это ритуальные убийства? – хватаюсь я за последние фразы недомерка.

– Я этого не говорил. Я сказал только, что они похожи на ритуал, к которому тщательно готовились. Ведь Азизу Мустаки не просто отсекли голову. Ее бросили в ведро с его любимым вином. А мадам Сават не просто вспороли живот. Его набили лоскутками материи. Кстати, что вы можете сказать о них?

– О ком? – вопрос застает меня врасплох.

– Об этих проклятых лоскутках.

– Ничего.

– Так-таки ничего?..

Бланшар похож на паука больше, чем когда-либо за все время нашей долгой беседы; ничего шадяще-бультерьерско-го в нем не осталось. С млекопитающими еще можно о чем-то договориться, а вот с подобными тварями...

– Так-таки ничего, мсье Кутарба?

– Ну хорошо. – Запираться бесполезно, рано или поздно малыш Дидье с его неумной энергией докопается до истины. – Мне неприятно об этом говорить... Но, похоже, лоскутки эти имеют некоторое отношение к последней коллекции Мари-Кристин. Она была представлена в начале прошлого месяца, в Париже.

– Вы можете поручиться за свои слова? – Бланшар вовсе не выглядит удивленным.

– Послушайте, Бланшар... Модели для коллекции создаются в единственном экземпляре. Ошибка исключена.

– И вы могли бы точно определить, что это за вещи?

– Ну, конечно. Я знаю, как они создавались. Их обрывки я видел и потом... – Я понижаю голос, лишний раз тревожить изуродованную тень живота Мари-Кристин мне не хочется.

– Что же это было?

– Платье для коктейля. И кожаный килт.

– Почему же вы ничего не сообщили об этом следствию?

– Меня никто не спрашивал. И я посчитал...

– Удобная позиция, не так ли, мсье Кутарба? Ладно, оставим это на вашей совести...

«На которой и клейма ставить негде», всем своим видом подчеркивает недомерок. Плевать я хотел на то, что ты обо мне думаешь!..

– У вас есть соображения, как... как они там оказались?

– Никаких. Платье было куплено сразу же после показа.

– Кем?

– Откуда же я знаю – кем? Какой-то русской, она никогда не была в числе наших постоянных клиенток. Залетная птичка. И сама покупка, скорее всего, была сделана случайно.

– Кто-нибудь еще может подтвердить ваши показания?

– Естественно. Думаю, вам стоит поговорить с нашими

менеджерами по продажам, они наверняка ее вспомнят.

Узкая полоска между ежиком и бровями бугрится, того и гляди, произойдут тектонические подвижки и мозги Бланшара брызнут наружу раскаленной лавой. На всякий случай я вжимаюсь в стул.

– И вы могли бы описать эту... залетную птичку?

– Скорее, лягушонка. Волосы из медно-красной проволоки и одна большая веснушка вместо лица. Незабываемое впечатление.

– Значит, вы утверждаете, что какая-то рыжая русская купила именно это платье?

– Да.

– Больше вы ее не видели?

– Нет.

– Плохо, очень плохо... Плохо, что вы не сказали об этом сразу.

– Меня не спрашивали, – я остаюсь абсолютно глух к стенаниям Бланшара. – И потом, это произошло в Париже, больше месяца назад.

– А опознать ее вы могли бы?

Опознать головастика не составило бы труда, знать бы только, в каком болоте он обитает. И почему мысль о рыжем чудовище до сих пор не приходила мне в голову? – ведь со дня смерти Мари-Кристин прошло уже две недели, примерно столько же времени я знал о страшной, перемешанной со внутренностями, начинке. Каким образом ош-

метки от эксклюзивного платья могли оказаться там? Одно из двух – либо рыжая знает убийцу... Либо... Но думать о том, что потешный головастик каким-то образом причастен к убийству, мне не хочется. Рыжие слишком импульсивны для таких изощренных, хорошо продуманных злодеяний. В них нет ни брюнетистого хладнокровия, ни блондинистой отстраненности. Странно, что убийце – кем бы он ни был – понадобилась именно «принцесса»; при удачном раскладе этот кусок шелка может задать делу новое направление и послужить неопровержимой уликой против него. Почему именно «принцесса» – ведь тряпок с растительным орнаментом в коллекциях Мари-Кристин предостаточно. И если уж убийца дал себе труд слямзить кожаный килт, то почему бы не умыкнуть заодно и какое-нибудь платье?..

– ...Вы слышите меня, мсье Кутарба? Вы бы могли опознать ее?

– Без труда. Если вы ее найдете.

Короткий, мясистый нос Бланшара вытягивается: он уже сейчас готов сорваться с поводка и взять след.

– Быть может, вы заметили что-то такое, что поможет установить личность этой... м-м-м... покупательницы? Или что-нибудь слышали о ней от знакомых? Насколько я знаю, русские обычно держатся друг за друга.

Я снисходительно улыбаюсь в лицо парижскому дурачку.

– Вы знаете, сколько в Париже русских, Бланшар? Чуть меньше, чем арабов, и всяко больше, чем парижан.

– Да? – моментально пугается коротышка.

Расистский румянец, разлившийся по его впалым щекам, неподражаем. Еще пара-тройка подобных высказываний с моей стороны – и одним сторонником Ле Пэна станет больше.

– Я пошутил. Но русских в Париже действительно много. И они вовсе не держатся друг за друга, как вы изволили выразиться. Они предпочитают добиваться всего в одиночку. А что касается рыжей девушки... Она просто купила понравившуюся ей вещь, только и всего. А для этого вовсе не нужно предъявлять удостоверение личности.

– Раньше вы ее не видели?

– Я уже сказал – скорее всего, она попала на показ случайно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.